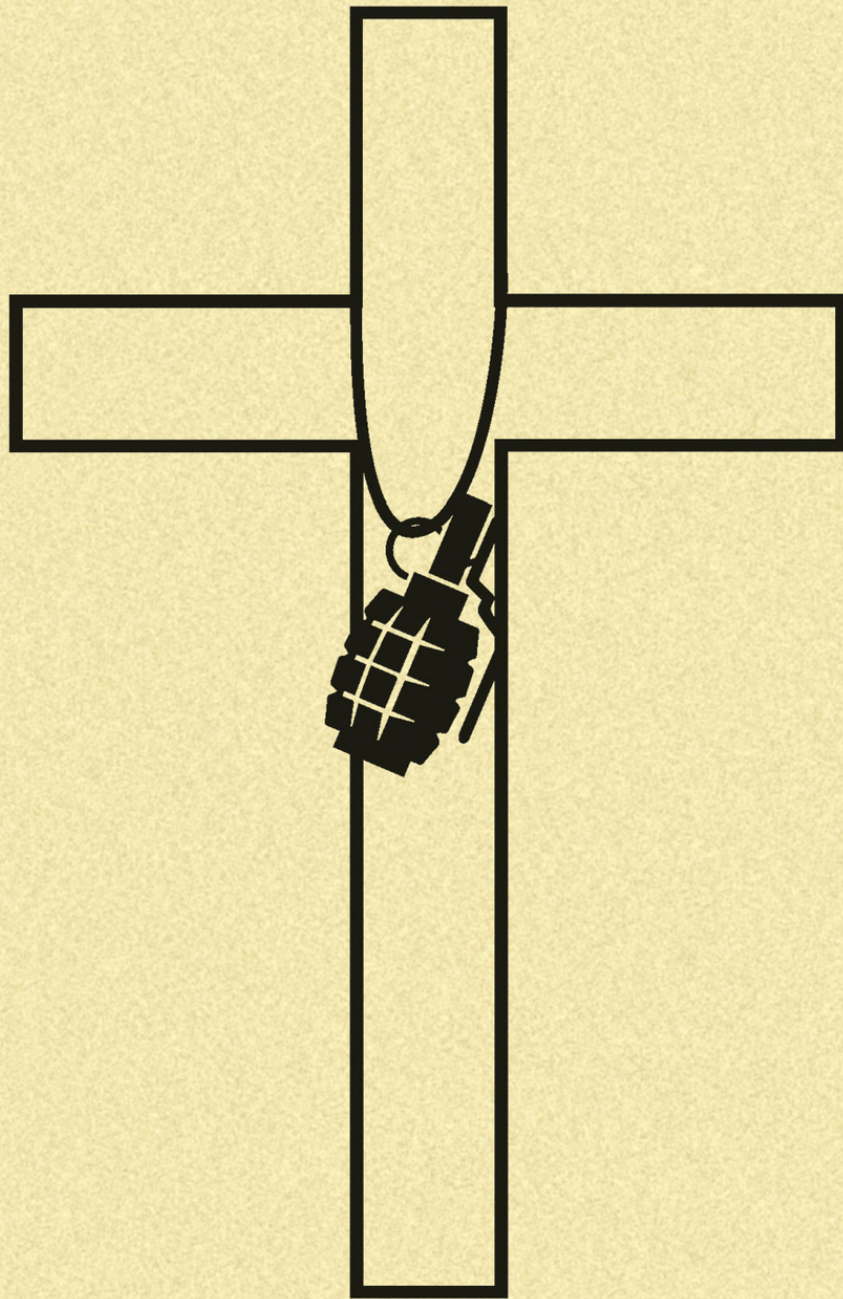


Владимир Конончук



ВОЙНА И ВОЛЯ

Владимир Конончук

Война и воля

«Издательство «Перо»

2019

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Конончук В.

Война и воля / В. Конончук — «Издательство «Перо», 2019

ISBN 978-5-00150-339-2

Уважаемые читатели! Произведение «Война и воля» в первую очередь адресуется тем, кто скучает по настоящей русской прозе с её внутренним светом подлинного человеколюбия. Тем, кто судит о жителе не по чину и доходу, а по излучению души, главному богатству человека. В основе повествования лежат судьбы обитателей как бы спрятанной от мировой суеты небольшой деревушки западно-белорусского Полесья. Хронологически оно охватывает события периода 1905–1958 годов. Многим из них в нашей литературе по разным причинам прежде не отдавалось слов, и вот они здесь. Поелику автор родом из западного Полесья, ему не пришлось «байдарить» по Карелам или «горнолыжить» на красных полянах в поисках избыточных слов, – родные, они сами приходили к нему в воспоминаниях земляков о жизни и войне. Если точнее, о жизни, связанной с войной. Сначала то были участники событий, затем их дети, сохранившие в памяти рассказы отцов. Любопытны они были тем и потому, что категорически не укладывались в канву популярного в нашей литературе о войне жертвенного героизма, выше собственной жизни возносящего жизнь государства. Хорошо, когда это одна из форм взаимной любви и заботы. Тогда никто не чувствует своей сиротливости. Отдадим должное воспитанию патриотизма, занятию вполне пристойному, когда оно не использует недосказанности, как формы лжи обыкновенной. Ибо у автора есть святое убеждение, что только фактами, а не идеологически выдержанными красками можно писать картины истинного видения событий прошлого для строительства подлинно человеческого будущего. Ложь – призрачная подушка фундамента. Дом на ней не пригоден для жизни. Он рано или поздно рухнет. У всякого человека мыслящего – своя правда. У красных – одна, у белых – другая. Их носители каждый свою считают истинной. И правда противоположного взгляда должна быть искренне уважаема только за то, что она также правда, а не отвергаема за то, что несёт кому-то неудобный смысл. Ибо опираются в развитии на оппозицию. Через

отрицание отрицания, как помним. Отсутствие же критического посыла не даёт развития жизни к счастью, оно суть убийство мира. Наверное, книга ещё и об этом. Доброго всем чтения.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-00150-339-2

© Конончук В., 2019

© «Издательство «Перо», 2019

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| 1 | 6 |
| 2 | 16 |
| 3 | 18 |
| 4 | 22 |
| 5 | 24 |
| 6 | 28 |
| 7 | 36 |
| 8 | 39 |
| 9 | 42 |
| 10 | 46 |
| 11 | 50 |
| 12 | 55 |
| 13 | 72 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 73 |

Владимир Конончук

Война и воля

1

В нежном, ласковоручом августе третьего от Победы года, 1948-го от Рождества Христова, как считают, просквозила Елизавету Васильевну Саенкову, тогда Лизоньку, недавнюю студентку от медицины, печаль.

Болезнь, для девушки двадцати уже трех улыбчивых лет воистину прежде невообразимая. А потому, что старшие, храня её наивность от глупостей, о дворянском происхождении уважаемых предков не заикались, и росла Лиза с верой в счастливое будущее своё и человечества сначала в красном галстуке, затем с железным комсомольским значком на гордо растущей поперёд сердца груди, и товарища Сталина этим жарким сердцем любила до готовности отдать душу. Да ещё потому, что война окончилась, а значит, и все страшные несчастья.

Казалось, практики девушки в госпиталях, – долгое время гнетущего внимания разноголосому хору страданий, бытования в морозах смертей, в атмосфере гниения не нужной никому плоти, – наделили её душу иммунитетом, без какого сходят с ума не снесшие гнёта собственного терпения. Она научилась видеть, жалеть, забывать, улыбаться и снова видеть... хорошее во снах и мечтаниях.

Притерпелось сердце: уже прогнавшее не раз по артериям и венам кровь, разбавленную людскими болями, в сбережение своё не учащало биения. Закалилась душа атеистки Лизоньки в переживаниях; приняла девушка незамужняя жизнь, равно оскомину опыта мудрая вековуха, близкая странной и вечной тайны, той, в одну себя втиснувшей свет и тьму, рождение и умирание.

И что-то уже начинало подсказывать ей о скромности величин сих пред вставшими вопросами о самом смысле пребывания в разуме и речи.

Теперь, волею распределения в скромненькую западнобелорусскую районную больницу («В райбольницу, – написала она маме, – ты только вслушайся, в рай...») единственный педиатр на всю округу, она во всех детских страданиях стала вдруг понимать виноватой себя. Но терпение продолжало любить её и беречь.

Берегло, берегло и на тебе: выпускница столичного мединститута, озарённая светом наук всячески важных и очей профессорских при том, не смогла, не успела – во спасение совести: бессильной оказалась – помочь белоголовому двухлетнему хлопчику.

Светом такой надежды она ещё не ослеплялась Светом ярко-синих глаз глянувшего внутрь её малыша. Он будто бы спал при слабом своём дыхании, и, только когда подсунула она руки под его единственно жаром полное тельце и стала поднимать с кровати, малыш медленно, тяжкую работу делая, поднял веки. И были глаза ребёночка болезного поначалу как бы невидящи, в мути спрятаны, но заглянула в них встречная жалость доктора Лизы, как сползла пелена с взгляда детского, открыв понимание происходящего, и вызвала неожиданное, ножом насквозь пронзившее девушку сияние надежды. Улыбнулось милое дитя, сделало попытку поднять к ней обвисшие хворостинки своих ручек, верно, обнять. Да не нашлось у тех сил. Упали те вниз, а затем и, сверкнув прощальной ясностью синих глаз, откинулась туда же белая головка, словно веревочкой стала она привязанная. На руках, на руках... милостивый боже... ай, как же это... слёзки на его щеке... он ещё жив?.. нет, это мои!.., что же это?!

Чувствуя, как перестают держать руки, Лизонька уложила умершего в кровать и, натужно удерживая рвущиеся в голос слёзы, рванула из хаты, во тьму белого света понесла

себя куда бы вон в московских своих туфельках модных: через мягкой земли огород, по тропе кустов мимо, да в озере недалёком нашлась сидящей, при юбочке своей модной московского пошива под белым местным государственным халатом и слабым понимании жизни. Сильно слабым. Потому позволившим вырваться наружу и быть безудержной её разлившейся окрест песне горя, вволю хлебнуть наконец солёно-горьких, вкуса лекарства, слёз.

...Сообщим здесь, что событие наше приключилось в полесском селе Радостино, озеро где замечательно тем, что ни хрена в него не впадает, что оно чисто родниковое и вода в нём даже в жаркое лето далеко не теплая. Ни хрена, значит, ни из хрена в него не впадает, но истекает речушка. И не куда-нибудь, а в само Чёрное море. Недоверчивым надобно объясниться, что не сразу, конечно, подозрительные мои.

Поначалу в Днепро – Бугский канал, потом в Пину, Припять, Днепр и... вообще вранью в нашем повествовании быть не имеет нужды и смысла...

Так что сидела детский доктор Лизонька по грудь свою молодую и гордую при стучании сердца, переполненного любовью к товарищу Сталину, в неласковой воде и ручейно рыдала, тем самым и своей добавляя соли в далёкое море, на которое взглянуть мечтала часто, но безуспешно. Тешило её озеро, мягко и певуче снуя водой по локоткам.

Приводнилась, значит, потрясённая девушка, ровно лишённая даров золотой рыбки поэтава старуха, и выливала переживание из двух глаз. До того выплакала глазоньки, что взамен несчастья с ребёночком вбухнула туда память Сретенку, дом родной в три этажа меж тополей, Красную – как обухом – площадь с радостно струящимся по ней первомайским парадом, товарища на мавзолее Генералиссимуса с его несломимо приветствующей, нечеловечески неутомимой рукой. А потом явилась мама при провожании с Белорусского вокзала, уставленная в дочкино будущее широченными, лучащими страх глазами, и вернула видение глаз и смерти малыша...

– Да перестань уже горе-то плакать, красавица, – прозвучал тут голос и был негромким, утомлённонисходительным, как сошедшим с неба.

Лиза утихла, встала, кулачками вытерла глаза, посмотрела на берег... и никого не увидела.

– Правильно; приходи в себя, приходи, – откуда-то сверху снова принеслось.

Лиза пристально оглядела прибрежные кусты, светлое небо совершенно изучила, но там только редкие тучки паслись и птицы бешено носились, меж собой при том успевая разговаривать; и невозможность видеть явно близкий источник звука изумила её, в сердце вплыл холод, отчего возразило оно сумасшедшим грохотом, внутри же солнечного сплетения заклубилась тошнота.

– Кто это? Кто это здесь? – пропищала она хрипло, выдыхая из лёгких последний воздух. – Что Вам здесь надо? Какое Вам дело до моих слёз?

– Да ты на шо такая пугливая? Думаешь, привидение по твою душу. Живой, живой я ещё. А ты? Не нахлебалась за войну, не накушалась соплей в Московии? Ну, значит, по адресу явилась. Тут разве только люди, милая, тут сам воздух такого уже нарыдал, что нам больше реветь не в малину. И тебе довольно, пожалуйста. Да и стыдно так убиваться. Писание спроси. Сказано: нема на свете горя, чтоб так длительно переживать, кроме жалости до себя самой, любимой. А по себе слёзы лить вполне грех. Хлопчику, душе невинной, теперь вполне лучше, чем нам здесь, он, может, у самого господина за пазухой. На то его мамка и рожала. Надо, ещё произведёт, дело нехитрое. Поняла?

– Ага, – выдохнула Лизонька, а сама в сторону звука, то есть прибрежных кустов ивняка, внимательно уставилась... Голос молодой, приятный даже, глухо-нежный, у раненных такой бывает, когда на поправке. Всех тогда любят.

Ищет девушка в кустах человека и не видит, но взгляд на себе таки чувствует: щеки жарком покрыло. Верный признак. Краснела Елизаветушка от любопытного на себя внимания и не умела бороться эту слабость. Туфельки или там платье на себе изучать начинала, глазки долу опустив, руки пристраивать поудобней. Ничего с собой не могла поделывать, Смущалась, хоть ты тресни.

Здесь, застигнутая голосом в момент весьма неожиданный, в мокром, приклеенном к нежным местам платье чувствуя свою ужасную обнажённость, она сумела лишь мельком на себя взглянуть, ибо впервые её застенчивость столкнулась со страхом и оказалась слабее. Не в силах решить, что же теперь делать, стояла Лизавета в озере, как застигнутая внезапным паводком берёзка. Едва распутивши листочки, пред судьбой смиренная.

– Да выходи уже, пожалуйста, докторша. Не трону, ей-богу, Дело у меня к тебе есть, серьёзное дело. Грех мне на тебя смеяться зараз. Да и люди могут заволноваться, куда подевалась, – раздался с берега громкий шёпот.

– А вдруг Вы бандит какой?

– А то як же. И бандит, и чёрт рогатый! Сказал твёрдо – не трону. Просто жалко человека, потому что докторша детская. Простудишься ведь. Кто пацанов лечить будет, твою ж мать. Выходи, будь ласка.

– Нет, сначала Вы покажитесь. Если что, я плавать умею, в бассейн даже зимой ходила, – продолжала испуг Лиза.

– Ну да, ну да... Слыхал, слыхал. Ай да суки... Храм Спасителя взорвали, бассейн там соорудили, «Москва» называется. Чтоб зимой купаться. Ай да большевички. Все им кругом враги, так чем же наш Христос лучше? Ерунда, что не ходил он с винтовкой и речами супротив сатанинской власти. Всё равно – к ногтю. А я, девушка, вроде как наоборот думаю. Так что не бойся. Выходи. Имей сознательность.

– А сами боитесь показаться? Вот я сначала посмотрю, какой Вы добрый.

– Боже ж мой, – взмолился невидимка. – Вот упрямая заноза попалась. Мертвого уговорит. Выйду. Хоть не в добро мне светиться...

К изумлению Елизаветы Васильевны, один из кустов ивняка вдруг ожил, отделился от собратьев и, едва слышно шелестя листьями, медленно двинулся в её сторону. В леших образованная комсомолка наша не верила, как в любую нечистую силу и подумала, что сходит с ума, но, слава Богу, с приближением движущегося растения успела увидеть в нём спасительные черты. К ней таки направлялся явно человек, от головы до пят сокрытый грязно-зелёным в жёлтых разводах платье с капюшоном, увенчанным венком из кленовых листьев. Вкривь и вкось одет был человек в торчащие веточки разных деревьев, мох, траву, бересту и всякую от местной природы всячину, с обликом той самой природы делающую его неотличным. Лицо человека скрывалось за сетчатой, словно сотканной из осоки, вуалью. А уж совсем выдали его стёртые добела мысы кирзовых сапог, мельком взмывавшие над травой.

Вблизи прибрежного песка он остановился и смахнул своё «забрало» на затылок.

– Выходи же, пожалуйста, – опять шепотом попросил незнакомец. – Некогда мне здесь. Шофёр тебя искать кинется, беда будет. Быстрее!

В туфельках, – ясное дело, – потому застревая в песчаном дне каблучками, понесла Лиза с каждым шагом нараставшее смущение своё и всё ярче розовеющее, вниз глазами личико навстречу – конечно же – оценивающему, быть может, даже смеющемуся – ей казалось – взгляду. В одежде, прилипшей к телу, дабы все её формы кому ни попадя предательски выдать, чисто какой-нибудь там Афродитой вынесла она себя на берег и пошла-пошла, в песке утопая, неотрывно и робко изучая, каков он и какая такая трава его пробивает. Только когда в сапоги упёрлась, вздрогнула ресницами вверх и стала близко юного, бритвы не знавшего лица.

Но оказалось, что лицо это извело прикосновение иное, совсем не гладкость щёк сулящее: широкий и неровных краёв шрам прилёг на нём от уха до середины верхней губы, но

чуткая настороженность небесных по цвету глаз сразу отняла внимание на себя, делая изъясн неважным, придавая лицу взрослость и некую даже угрюмость человека, шутить какому везло редко. Здесь же великое изумление, с каким взглянула на юношу девушка, заставила его губы чуть разжаться в ироничной улыбке и прошептать:

– Не бойся. Вроде бы я ещё не чёрт, как видишь.

– А кто Вы? – вылетела из Лизоньки – снова! – глупость. Чему-то повинуюсь, она также шептала.

– Человек, кажется, – мелькнул улыбкой юноша. – Или уже не похож? Иван моё имя. Только не говори никому. Уж пожалуйста.

И взгляд – немигающий, настороженный, голубого холода.

– Нет-нет, я не о том, Вы человек, я вижу, я о другом... Понимаете?

Сумятица вошла в голову девушки, беспорядок случился в доме, где разум её поживал, бардак несусветный, – грубо и честно скажем. Но не случайно, ох и не случайно: шея юноши окольцована была петлёй. Шнурок сыромятной кожи. Внизу яйцо. Привязано за конец. Ребристое. Не жизнь содержащее, – смерть. У сердца.

– Как не понять? – согласился Иван. – Кем бы я тебе ни казался, разве это важно? А ты? Ты – откуда такая взялась? Зачем тебе любопытство? Не видишь, в какой стране живёшь? Или ещё не знаешь, счастливое дитя советской власти? Молчат люди, берегут себя. Улыбаются в день, а ночью зубами скрипят. Страшится лишнего слова услышать, лишнего слова сказать. И тебя храни Бог, – молчи обо мне. Разнесут. Я по их бумагам давно покойник. Вот тебя и возьмут за клевету. Поедешь в Сибирь задаром работать. Забудешь, красавица белокурая, что есть на свете туфельки. Сунешь свои стройны ножки в такие вот, как у меня, (посмотрел он вниз, носком сапога вправо-влево поводит), хорошо, ежели растоптанные, – и вперёд, к мировому счастью, значит, при большом смысле жизни. Вдоль по вечной мерзлоте... Не хочу за тобой виноватым стать, Лиза.

– Ах, откуда Вы меня знаете?

– Да Полина, маманя стукнутая. Дело редкое – летом застудиться. К знахарке не пошла. Мужик, из партизан, партийный придурок, приказал ни в жизнь. Четыре дня ходила по гостям, советы собирала, надо ли доктора мальчонке бедному. Опять же, страна ежели теперь советов, как самой решиться и быстро? О тебе сказали, кто – не знаю, но по имени – отчеству. Рванула на пятый к твоему величеству, да поздно... Ты уже не выкай на всю природу. Один я здесь.

Почему-то отмерз от повешенной гранаты взгляд девушки, и разглядела она под странным одеянием контур немецкого автомата, – любила кино про войну, – а сзади, над плечом, заметила ещё один, скрытый тканью, ствол.

– Хорошо. Я поняла. Я не буду кусту ходячему на Вы говорить, действительно. Ему за меня страшно, – просто смех. Посмотри на себя, бандит несчастный, – гневно шептала девушка, представьте. – Не морщись, не морщись. Обещал не трогать – слушай. Ты – трусливый предатель Родины! Хочешь Советскую власть победить? Ничего себе! Германия не смогла, а он, значит, сможет. Идиотизм настоящий. Сколько по лесам ни бегай, рано или поздно убьют. Разве в этом смысл жизни?

– Сме-елая. От детства в голове, понимаю. Но уважаю. Хочешь меня обидеть? Бесплезно. Я забыл обижаться. А здесь не бегаю, верь, совсем не бегаю. Гуляю по природе. Люблю болото. Иду по нему, а оно чмок-чмок – ноги тебе расцеловывает. Где ещё такое? Это за мной носятся, – языки на плечах валяются. Убьют? Убью-ут, конечно. Но не легко. А честь мою – совсем не смогут. Не выйдет у них чести меня лишить.

И залучился глазами юноша, улыбаясь так широко, как шрам допускал, что стала думать Лиза, конечно ли права, – уж больно не подходила его искренняя весёлость образу газетному кровожадного и подлого убийцы. Но вернула она взгляд на свои туфельки и – нет, кто же он, как

не враг? – в лесу прячется, гору оружия на себе носит неспроста, народную власть ненавидит, руки в крови по локоть, может быть. А может, и нет. Светло улыбается. А что в душе?

– Рад за тебя, – с покорной уже улыбкой продолжал громкий шёпот Иван, губ не раскрывая почти. Ах да, – шрам. – Кому сейчас правду ты скажешь? А мне – в любом виде, при полном удовольствии. Воля вольному. Иные мужики, скажу, издаля ну жуть какие смелые, в штаны, прошу прощения, клали, близко меня забачив. Но я на них ни за что не обижался, – к ангелам ведь пойдут. Может, – не обижаться и есть смысл моей жизни.

– Что-то как-то я не понимаю.

– И со мной бывало. Случаем стрельнул я волка, не чтобы пожрать с голодухи, а жутко злобно зенками сверкнул, поганец. Чисто злом. Как для одного только убийства видит белый свет. Не по уму, – по инстинкту грохнул. Во, – ты удивляешься, а я учебников много читал, как-то из библиотеки ночью прихватили. Для развития любопытства. Про собаку Павлова, – пример, – она на лампочку рефлекс имеет. О лампочке слабо соображаю, в чем её свет, но рефлекс понимаю. Вот на волка именно рефлекс мою руку и дёрнул, – безо всякой в башке мысли гулял я себе и гулял себе. Глаза увидал нехорошие – и шварк, – ловите мух на примус. Бессознательно. Подхожу. Господи, боже ты мой – волчица! Детки кругом. Лежит и плачет, ты подумай, слезами живыми. Смотрит. Глаза со-овсем уж не злые. Как она упала, значит, детишки и подумали: вперёд – легла их мамка вверх титьками, ну, по-вашему будет, грудями с молоком. Они на неё, их много. В боки тыкаются, кушать ищут. А нет молока. Молоко кровью стало. А та, видать, помирает, плачет на меня, спрашивает: за шо ты, гавнюк, женщину, как есть мамку, невыносимо обидел?... Волчара – и в слёзы. Не по себе ведь, по деткам. Кто им теперь питание обеспечит? – помрут. Плачет, что долг свой материн не отдаст, честь свою соблюдает. И взяло меня непонимание, прямо до сердца. Шо, спрашивается, я тут натворил? Зло? – вроде нет, страшного зверя кончил, скотину губит, а когда и людей. Добро? А шо ж у меня такое добро из души шкварки вытопило, аж сердце из жопы – я извиняюсь – выпало? Убил легко, как же – последнее зло, а теперь оно помирает при слезах. Разве зло может плакать? Не-ет, плакать даёт душа. Какой бывает человек? Кто плачет, кто нет. Который стал зверюгой, – не может уже. Видал таких. Кривится, кривится, хочется ему, – детство своё иль маму покойную вспомнил, – а омыть оченьки, ясно на свет божий напоследок глянуть, – и нечем. Потому что был человек, стал зверь. Одно дерьмо в ём, а слеза – дело чистое.

– Я, кажется, о смысле твоего бегания по лесам интересовалась, – встряла Лиза. – А ты к волку побежал. Какая здесь связь? Себя с ним сравниваешь? Как бы для всех злой, а для бога своего добрый, потому что плакать не разучился? В оправда... – и смолкла разом, потому что врубился в их шёпот, как топор внезапный, из мира, неосторожно забытого, голос. Принадлежал он шофёру Вите.

– Лизочка Васильевна, где Вы? Васильевна-а! – близко подобрался, чёрт.

– Вон его, вон! – выдохнул Иван. – Быстро! Пожалуйста.

– Витя! – заорала в сторону тропинки меж ивняка девушка. – Не ходи сюда. Я в озеро попала и мокрая ещё. Высохну и скоро буду. Не ходи дальше! – тут она на Ивана оглянулась за одобрением, да уж растаял тот в зелени, опять кустом стал.

– Хорошо-хорошенько, Лизочка Васильевна, – отвечал шофёр. – Только сильно не волнуйтесь, нервы вредно тратить, я уже взад пошёл, бумагу мальчонке надо с подписью Вашей, – катился на убыль звук, – помер, а бумагу ему давай срочным нарочным, что мы без бумаги, едричка сила, – всё глуше и глуше, – беда... лёгкая она вещь, птичкой беда летает, куда хошь...

Далее слух у Лизы занемог и кончился.

– Умненькая, – проявился шепотом Иван. – Умненькая. А красивая – ох! С ума сойти можно. Первый раз такую вижу. Аж забыл, что дело у меня к тебе. С несчастьем к тебе пришёл, прости Христа ради.

– Господи! Ты сам ходячее несчастье, Ваня. Жизнь одна у всех, а он... Что за радость? ... Нельзя разве с повинной? Я слышала, амнистию объявляли, люди из леса тогда выходили. А ты? Разве ты зверь какой?

– Объявляли, – на тихий голос перешел Иван. – Много чего объявляли. Нет – объявляли – другой страны, где так вольно дышит человек. Выходили, говоришь. А где они теперь? А где их дети? А братья и сёстры где? Теперь у нас, в лесу, дурных нема. Вышли уже дурные. Поверили газеткам. Вольно теперь по тундре ходят, вольно в Сибири дышат. Воздалось по вере. Жизнь – одна? Я так не думаю. Так думать очень просто. По мне, душу свою и честь сберечь надо боле, чем саму эту жизнь. Ах да ладно, каждому своё...

Замолчал он, на озеро отвернулся, стал на воду смотреть, а Лиза всё своё нравоучение уронила и слова потеряла где-то в полном непонимании этого человека. Из другого мира пришёл он.

И пришла иная речь: шептал песок с набегающей водой, чуть потрескивая, колыхалась осока, плескалась игривая рыбёшка, высокого полёта птица вскрикнула о своём...

– Нет нам помощи, Лиза, – вошёл в речь природы Иван. – Саша у нас вздумал помереть. От ноги. Осколок – в кость. Не заживает, гниёт – ужас. Не отрежем – похороним. Отрезать-то мы отрежем, знать бы – как. А ни инструменту, ни медикаменту нужного – беда с этим делом. Тут узнал, что доктор приедет к мальцу, решился, сама видишь. Добрый доктор – он любому доктор, а друг наш насовсем уж не герой, ни для кого уже не вредный. А здесь ты, с воспитанием... Что мне делать? Сказать «прости – прощай, Сашка, девка медицинская коммунизмом больная сильно, других людей за людей видеть не видит?» Стрельнуть, как он просит, ему в лоб крещёный, поплакать и закопать, где выше? Так!? – уставился Иван в глаза Лизы, и был его взгляд колодцем тёмным, с мерцанием глубоким, от света сокрытым и навек одиноким.

Упали слова девушки в этот колодец, с головой скрылись и не всплывали, – хочет сказать, да как из-под воды скажешь, захлебнёшься; ах, не вода, – слёзы то были, солон был рот. Стояла, немая.

Медленно шла жизнь...

– Прости, коль потревожил, – сказал этой жизни Иван. – Пора тебе, спаси господь. Я тоже пойду. Пока.

– Н-не, стой же... Не у... – словно солью питаться всплывали слова – ходи, пож... – ста. Ну чем я могу? Я не делала таких о – пераций и... и смотреть на них не могла... смотреть, пони – понимаешь? А теперь – на безногих – ужас.

– Куда плакать, Лиз? Книжку найди, с неё спиши, что нам делать, собери, где сможешь, лекарства, инструмент какой. И – ни единой душе! Ни единой! Послезавтра найдёт тебя человек, «пора лечить ногу» – три слова скажет, три. А дальше – нам грех, нам и молитва. Иди с Богом.

– До свиданья.

– Слава народу, Лиза.

... Никто не знал о любви Лизаветы к пению, потому что любила она во сне. Няяву – нет, не то. Голосёнок слабоват, а пойдёт не в ноту, не в мотив – конфуз на помине лёгок – редко и смущённо соглашалась петь, а уж на трезвом соображении и не просите. Наследственным было отношение девушки к музыке, уж мы то знаем, а Лиза ведать не ведала, иначе вполне могла бы славной певицей, а то и композиторшой стать, не профукай она своё наследство за делами медицинскими и общественными, или роди её мама в другой стране. Но сон легко не обдуришь, он тебе – уж будьте покойны – воротит, где горю недоплакано, где счастьем недорядовано. Любой уговор без пользы.

От самого детства и пела она во сне. А какие песни! А как исполняла! Сами – знайте – ангелы, что при ней всегда в это время летали, от восторга смолкали подпевать, крыльями

только хлопали. Певица наша по недоразумению наблюдала, что она с птицами совместно летает, с голубями мира – думала – так мы её за то простим: откуда ей про ангелов?

Сейчас она думала, что это чайки, ведь летала над морем, желанным и Чёрным, из оперы пела, на языке иностранном, о любви. Сон – не обдуришь!

Вот была война, беда над каждым шагом стояла, – где радостные были песни?! Плакала во снах Лиза, по чёрного цвета траве на коленках ползая, что-то там ища: то оторванную руку найдёт, то два мёрзлых, кем-то потерянных глаза в ладошках подымет и давай высматривать, кому это их вернуть, – некому. Обидно было.

Но настала победа, стало можно покушать на ночь и слегка вообще помечтать, – прилетели птицы и песни. Справедливость войной не убьешь!

И вот над самым прекрасным морем в самом светлом небе звучит её радость – бескрайняя, как теплая внизу синева, чайки – одобрительно и вокруг; улыбается во сне Лиза, мечту смотрит, песню поёт...

И вдруг: будто вечер наплыл, посерело округ, берегов песочных не видать стало за погодным капризом. Смотрит она вверх – нет вверху солнца. Смотрит вниз, а там сузилось море до размеров аквариума, и всплывают к его остекленевшей поверхности стремглав всякие рыбы со страшно большими глазами, бьются ртами, со звоном их до крови расшибая, – вырваться и сказать, – и она замолкает в жалости, пытаюсь слышать, вслушивается – и просыпается: стучат в окно.

Размеренно, как равнодушно, позвякивает стекло, длинную меж звуков храня паузу. Звякнет, подождёт себе, дважды два в уме сосчитает или сложнее что, звякнет опять. Будто не человек забавляется, а берёзка у больничного окошка маятником обратилась и веточкой слегка, листочком своим сухим чуть...

Темень и тишь, рассветом ещё не запахло. Окно в решётке из арматуры высоко – над цоколем, вытянутой рукой не достать. «Дзинь!» Деревцо на фоне лунного заката недвижно и молчаливо. Нет, – не ветер. «Дзинь» Чёрт возьми! По темечку. Равнодушно. Размеренно. На смену сну о поющих рыбах заступал разум.

Пошёл третий день, – догадалась Лиза. Осторожно догадалась, застенчиво.

В комнатке гостевала темень; утренней кровью солнца уже собиралась насытиться законная серость; в неё отворила она створку и, головою ткнувшись в решетку, попыталась заглянуть. Ничего живого.

– Ты зачем хулиганишь? – спросила у березки. – Стучишь, будишь меня ни заря, ни свет.

– Встала, слава те господи! – кто-то отозвался снизу странным голосом, по-стариковски хриплым и тонким по-детски одновременно. – Я здесь за дятла, прошу извинять. Ногу пора лечить, а то солнце скоро. Пора лечить ногу.

Кто-то отошёл от стены, маленький, на тень похожий, засветлел вдруг, осветился лицом, вверх глядя, и оказался мальчишкой, в кепке, с торбой на спине.

– Кидайте, тётенька, чего у Вас до меня, а то горло болит говорить.

– Ты что? Не смогу через решётку. А вдруг увидят? С торца дверь в приёмный. Иди. Открою.

Мальчонка имел голодными глаза и босыми ноги. Ступив на ещё сырую после вечерней уборки тряпку, он подтянул кверху вчера ещё отцовы штаны в заплатках, деловито и тщательно вытер с ног грязь, неслышно пошел за Лизой. Вопросу, как его зовут, ковырянием виска указательным пальцем отношение своё обозначил: тронулась докторша от любопытства. Помотал головой предложению чая, но таблетку «от горла» в рот сунул. И всё на дверь посматривал, – некогда человеку.

По ходу объясняя, что смогла раздобыть, протянула Лиза увязанную наволочку; руки дрожали. «Не переживайте. Буде чего, я Вас и под током не сдам» – произнёс мальчонка, скоренько запихнул посылку в свою торбу и ступил к двери. За ручку уже взявшись, развернулся.

– Огромное примите спасибо! А ещё Ваня передаёт привет и желание крепкого здоровья, чтоб Вы улыбались при всякой жизни. Всё. Пока.

Он уже дверь открывал, когда вспомнила Лиза – спросить!

– Стой же! Я забыла! Не знаю, как тебя...

– И не надо!

– Скажи, пожалуйста. Один вопрос только. Почему Ваня ходит с петлёй на шее, с гранатой в той петле?

– Они все так ходят, у кого родня есть живая. Берегут родню.

– Как это?

– От Сибири. Мам своих, сестёр с братьями, у кого есть. Лицо себе взрывают, не poznали чтоб. Поранят если сильно или убьют. Коли сам не смогёт, товарищ чеку дёрнет. Родню не прознают, цела родня.

– Мамочки, – средневековье какое-то.

Здесь посмотрел на девушку мальчонка, внимательно и в глаза, улыбнулся, громко вздохнул и тихонько шагнул в рассвет.

...Утром шестого с той поры дня в дверь маленькой больничной палаты, определённой для проживания главного педиатра, три раза робко постучали. Кто там, спросила педиатр, будучи босиком в одиноком на себе халате, на что дверь тут же ба-бах, и в «партаменты» при кровати, столе и стуле ворвалась вся в запахах Полесья буря по имени Полина, мать белоголового ангела, уже два раза прилетавшего в сон Лизы.

– Здравствуй, моя ты сердешная, – радостно заголосила буря. – Ты поглядь сюда, чего у нас здесь, моя ж ты любимая!

Лиза изумилась, обратилась столбом и все свои слова у пяток потеряла.

– Вот у нас курочки постарались, – водрузила Поля на стол корзиночку с яйцами. – Хорошо с утра сырыми, особенно насчёт сердца, знахарка Катерина ни про что не брешет. Будем потреблять, хорошая моя. У меня кажин ребятонок как встанет, – самостоятельно в курятник, за завтраком. Кто не успел, – беда. Потому рано вставать им нравится отроду. Скушает, мать его в печень, и целый день живёхонек, паразит, бежит себе куда хошь и пожрать не нуждается. Живительный продукт. Кто его варит, в ём не разумеет. Хлеб у нас вкусный, на поминки старались, помидорки – вчера покраснели, соль – у тебя найдём; два гранёных, – не будний случай у нас, девонька, обязательный у нас случай, – вот они, чистые...

И словца ничтожного вставить не соизволив, приняла Лиза в левую руку вскрытое сверху яйцо со спрятанным за крупинками соли сумрачным солнышком, в правую – что тут разводите краски? – полстакана бредового запаха. Дегустации вин учёная, держала она горилку содрогательно, отнеся на максимум дистанции от сонного лица и единственного халата, обрета видом обнять весь мир и одно только соображая: попалась, ай да попалась.

– Вкусная, вкусная... Дыхалку выключай, на язык бери, из хлеба гнали, утром – полный огурец. Принимаем с правой, запиваем с левой, спаси и помилуй. Помянем, родненькая, Павлика. Нехай там он не скушает, мамку дожидаясь. Слышь-ка, сынок, – у господи батюшки нашего время не ходит, а лётает, – скоренько с тобой буду, один глаз моргнёт, – второй не поспеет. Ну, с Богом.

В жизни не пила самогон Лиза, в жизни сырых яиц не пробовала, а как сейчас не выпить, каким образом не закусить. Ма-моч-ка!..

Полина – обычным делом – полный до краёв – мелкими глоточками – мизинчик оттопырен – кошмар! Внутренний тогда голос Лизаветы, доктора детского, заорал что-то в духе

«смело мы в бой пойдём» или «пропади всё к чертям собачьим» – не вспомнила потом; жажнула в рот огнём, но не умерла, – помогла здоровью левая её рука, пригасила смертельное полымя, – силу в сыром яйце чудесную выяснила.

– Вот и ладненько, вот и добренько, – будто воду выпила Полина. – Дышится хорошо?

В ответ запучилась на неё Лиза, потому как слов потерянных не сыскала ещё и одно зашарила над столом растопыренными пальцами на предмет, чего бы схватить и съесть. Она, вполне может быть, намекала таким жестом, что пора бы присесть, а то сильно упасть хочется, но понятливая по-своему гостя немедля вручила ей помидор, но на всяк случай за талию приобняла, на стульчик поместила, в ногах правда известно где.

– Кушай, кушай, родная. Первую надо утвердить, дом фундаментом начинается. Плотненько трамбууй, как следует. От лёгкого фундамента легко и крыше улететь. А человек разве иначе, чем дом, устроен? Одинаково, скажу тебе, девушка. А я – слухай сюда – виноватая за Павлика. Дура есть дура, ни тебе отнять, ни прибавить чего. Своим умом сыра – побёгла советы собирать. Дособиралась, здрасте моей мамке – покойнице, уж и наснилась она мне, уж и наругалась за внучка-то, просто спать не могли. А шо ты сделаешь? И винилась, и молилась... ох... на всё воля божья. Кушай, милая моя! Теплынька пришла в сердце?

– Угу, – извлекла по причине полного вкусятиной рта Лиза.

– Вот и ладненько. Значит, до песни таки доживём. Выдашь московскую, такую, чтоб я слыхом не слыхиваала?

– Угу.

– Ты подумай! – добрая душа – на всё согласная. Вот молодец.

– У-у-у, – замотала головой девушка. – На всё невозможно. Это же с ума сойти.

– А и правда ведь, и правда. Вот мне мужик детишков строгал и строгал, а я всё соглашалась и соглашалась. Будто не при уме, со стороны глядя. Человеку, конечно, что? – его дело не рожать. Здесь не буду продолжать, времечко принять винца против бледного лица. Первая когда колом, вторая – соколом. А дальше пташками, пташками...

– Ма-моч-ка! – завопил внутренний голос москвички. – Помоги-и!

Но странно: вторая прошла мягче, не обжигательно, подобрел к незнакомке первач. Познакомился, узнал немного, не злым оказался. Не суди, мол, по первому мнению.

Ласка вошла в Лизавету, всех захотелось пожалеть и о своём пожалиться, – решимости только не доставало. Стал в ней оживать интерес, а того изволь питать ответами.

– Я извиняюсь, – заговорил этот интерес. – На вид Вы такая молодая, Полина, а детей, мне говорили, четырнадцать. Страшно много. Время-то каково? Война! Голод – холод. И чё рожать? Для всяких ужасов? Храбрая Вы женщина.

– Ай да ну тебя, девушка, какая храбрость? Во выдумала! Три дня смеяться буду. И не молодая я совсем – тридцать шесть годков имею жизни, ни дать – ни взять, ни сесть – ни встать. Деток? Четырнадцать этот сукин сын, муженёк мой разлюбезный... настрогал, мать его туда! И я, чистым словом тебе отвечаю, конечно же, полнейшая при том дура. А ты найди попробуй умную, чтоб кажин год с пузом и корову дои, и сено коси, и бульбу окучивай. Не найдешь. Ой! Тринадцать осталось без Павлика! Ну, всё! Хана мне! Число нехорошее, не согласится мой орёл болотный с таким числом, опять обязательно запендюрит. Ох, доля моя, доля. Что тяжко, то тяжко. Уж не для себя живёшь, казнишься, когда нет чего покушать или одеть дитю... А знаешь, что я тогда делаю. Я тогда спрашиваю, а шо мне остаётся, – спрашиваю, не родила ль я тебя, сынок, совсем напрасно, коли здесь у тебя ни обуви, ни конфетки. Может, – говорю, – ты здесь такой горестный, что надо было тебя где-нибудь там оставить? Ой, что ты, что ты, мамуля, да как ты можешь так думать, я очень довольный, что здесь живой, что солнышко кругом тёплое. Бедуют, но очень обидно им было бы на свет не явиться. Так и думаю: не роди кого, так его насовсем обидишь!

– А в оккупацию как получалось? Муж что, в погребе воевал, с огурцами солёными сражался?

– Не-е-е. В погребах у нас никому сидеть не пришлось. Должен был чи Гитлеру угодить, чи генералиссимусу, вождю народов, любимому товарищу. Посерёдке никак не получалось. И вошью не попрыгаешь. Чи те убьют, чи эти. Мой от семьи никуда не хотел, так партизаны к себе утащили. Забрали документ, и всё – немец тебя без документа имеет полное право, как бандита. А скажи что супротив, – на деток не посмотрели б. Кто в самооборону, в полицию – те в деревнях, на виду. А партизаны – в лесе, хрен углядишь, а на болоте – так и хрен достанешь. Опять же за Родину собрались, потому им надобно кормиться от пуза, – нехай детки твои мрут с голодухи, – а иначе враг и стенка тебе.

– И что, стреляли?

– Ой, что-то я разболталась, ты меня сильно не слушай и никому, хорошая моя, никому и ничего. Я к тебе с доверием сердечным. Поняла?

– Не беспокойтесь. Говорите.

– Так я только за себя разве? А при немце что? – выживали, кто как умел, у кого душа, у кого душонка. Сволочам, думаю, полегче было, так только сволочей среди нас не особо много случилось. Терпели. Вся жизнь – она терпение.

– Да-а. А с детишками? Как новых умудрялись?

– Дело разве хитрое? Явился как-то в август сорок третьего, скряб-скряб по стёклышку. Гляжу – родимая морда за окном при луне сияет. Детишки улеглись по всей хате, ступить боишься, у дверёв лежишь, а тут хозяин в гости. Сахару принёс, соли; уже ой как мы будем ему рады, ага. В хате, говорю ему, ногу поставить негде; а ты припёрся, нашёл час. А он разобиделся, я – говорит – с жизненным до тебя риском, спасибо, Ванька не взял греха, а то бы схоронила меня послезавтра, – хлопцы у него злые. Куда, спрашивает Ванька, прёшь, красный ты партизан? Деток проведать. За то и пожалел, но ружьё отобрал, самогон весь, и не ходи – сказал – больше, а то не посмотрю, а я, Поленька, сильно хотел с тобой выпить за нашу любовь. Разжалобил, паразит, слабую женщину, потому как я слёз чужих терпеть не могу – я от них сама всегда плачу. А свои потом люблю, мне от своих легчает. Стоял у меня продукт на случай жизни. А тому только допусти выпить – всё, во кровь любовь, понёс в ботву, – и строгать, и строгать; всю одёжу перепачкал, паскудник, по сию пору жалко. А таки помню, как он мне Светку склёпал, хорошая девочка растёт, не успела на ножки встать, а уж ищет, чем мамке помочь.

– Да – а. Дети – цветы нашей жизни, – нашлась сказать детский педиатр.

– Ясно, что цветы... Пока по ним никто с косой не погулял, – согласилась Полина и налила по третьей.

2

Путь узников в неизвестность будущего для каждого из них обладает неизбежной особенностью соразмерно времени своего продолжения усиливать гнетущее душу чувство тревоги так, что в итоге оно переходит прежде в страх, затем к обреченности покорной: уже коль везут на погибель, так скорее бы, без въедливых, до тошноты не исчезающей, мук ожидания невесть чего.

По весям гулял июнь. В удушающем, запертом он проникновения наружного воздуха бывшем товарном вагоне, вызываемый испарениями отходов человеческой жизни, создавался запах несчастья, давящий вдох и мешающий полноте мысли: запах приближающегося безумия.

И очень тяжело было вдыхать свежесть в те редкие минуты, когда на очередном глухом полустанке надобно было накормить-напоить паровоз, а заодно и тех, кого волок он неспешно; открывалась дверь, пахнувшие поля или же леса стелились на пол и делали грустным сознание, что на краткий миг.

Степан Соловейка, поскольку отвечал пред Отцом Небесным и собой не за свою душу только, но и за деток, Дашутку с Иваном, за жену Софью, позволить слабости одолеть свое сердце права не имел.

Неизбежно обращение к Заступнику, – между участниками общей судьбы уже наговорено по захлѐб горла и не однажды приводили пересуды о несправедливости к общему людскому вою, что, как определил для себя Степан, убивает жизненный смысл.

«Не положено», – укоротили голову порыву Степана взять в дорогу икону, молитвы прадедов вбиравшую с шестнадцатого века от Рождества Христова, и бросили выродки наземь то, пред чем печаль и радость изливалась, жила вера, возрождалась надежда, не умирала любовь; швырнули нового порядка представители лик Матери Божьей грубо и раскололи его вдоль. Случилось так, что одна половинка опрокинулась вверх изнанкой, другая – печальной укоризной заглянувшего в душу мужику единственного глаза, из которого выступила малая капля красного цвета слезы.

Кровь запалила Степану сердце.

Подкосились лишенные сил ноги, рухнул он коленями об пол; пришлось бесстрашным атеистам волочь его под руки вон, навстречу облегчающему дыхание привычному запаху свежего утреннего тумана...

Утром второго дня, не вставая, прошептав «Отче наш» плохо оструганным доскам верхнего яруса нар и перекрестившись, он всей громкостью своего теснящего горе голоса, услышали чтобы все спящие ли, бодрствующие ли, воскликнул:

– Господи! Прости их! Не ведают, что творят. Спаси нас, Господи, укрепи терпение наше, не попусти унынию!

Гром призыва взорвал утренний полумрак вагона так, что крупно вздрогнув, перестали плакать детишки, как по команде широко распахнув глаза в сторону матерей своих.

Женщины покляли на себя крест...

Уводя людей от нудной одинаковости стенаний таким неожиданным способом, подвигая попутчиков на смирение с разрушившим их жизненный путь произволом, помогал Степан не забыть находящимся в утробе отчаянья, что Господь не по силам испытаний не дает и что путь мучеников есть путь воистину надежды.

И более не слышался вопрос «за что?», и не был он выцарапан нигде или кровью написан – жил он здесь: вместе с одним медленно втягивал в пищевод пахнущую зацветшей водой похлебку, с другим справлял нужду в ржавое ведро, с третьим в поту засыпал, с кем-то ночью скрежетал зубами, с кем-то кричал непонятными словами.

«За что?» – спрашивали глаза Дашеньки в слезах от волнения за кошку Муську, оставленную сиротой при четырех, глаза еще не отворивших котятках.

«За что?» – останавливал сердце отцу грудного еще сыночка взгляд на то, как плоти и крови его крохотуля восторженно смеется, хватая в ладошку тоненький с играющей в нем пылью лучик солнца, ворвавшийся сквозь щелочку. Звали ребенка, не вписанного пока ни в какую метрику, Божик, по фамилии отца. Лежал пока сытый и счастливый Божик голышом на отцовом тулупе и ловил себе свет, но уменьшался уже поток его пропитания из мамкиных титек и розовый цвет его тельца обещал быть недолгим. Чем провинилось малое такое дитя перед миром вне разумения его и вне отсутствия в нём слова в свою защиту? Счастливым и несчастным событием своего рождения.

Пан Богуслав, бывший ксёндз, даже по поводу сорванного с него нагрудного креста подобным вопросом не мучился и осознавал себя совершенно готовым принять от воинствующих атеистов любую муку с терпеливым пониманием ее дьявольской природы. Со страхом он простился, когда узнал о гибели под немецкой бомбой жены и всех пяти своих сынов, и что на месте его дома на краю Гдыни яма, а на все останки его любимых хватило одного гроба. Смирненно приняв положение свое меж двух зол: одни убили его семью, другие непременно уничтожат дело его жизни, он, нисколько не сомневаясь в тяжести последствий, заявил в проповеди, что одна для нас холера, братья, фюрер западный измордует или вождь восточный, и со спокойной совестью стал ожидать ареста. То ли дел у ребят из НКВД было невпроворот, то ли механизму классово-борьбы не досталось смазки, – более полутора лет кануло, прежде чем он разделит участь изгнанных.

Перед едой, радуясь втайне, он присоединил к молитве Степана её польское звучание и двуязычная их песнь стала неким интернациональным благодарением Отцу небесному за пищу продления земных мук.

Ибо блаженны гонимые...

Пропитание было, как и предполагалось, совершенно тюремным, но все старались поскорее привыкнуть, ибо будущее не сулило ничего более съедобного. Как бы ни стало хуже.

Дашенька, пяти лет дитя, морила голодом: не хотел организм принимать похлебку, пучило до рези живот, рвало. Почти весь хлеб, достающийся на долю их семьи, отдавался ей. Больно было Ивану за свою сестренку, но ничем другим помочь возможности не было. Сострада сестре, он никак не мог взять в толк, почему, почему нужно молиться перед такой нечеловеческой снедью, не всякой скотине годной; он изумлялся просьбам простить людей, по чьей зверской воле отнимались дома, а их обитатели, в жизни своей ни одну из христианских заповедей не нарушив, подвергались ужасу. В чем повинен ловящий ручонками солнце грудной младенец?

Разум не принимал молитву. Он противоречил воспитанию, в основе которого лежало глубокое уважение к родителям и послушание им. Ум приводит к правде, вспомнилось отцовское, но и уводит от истины, способный направить на путь греха. Мудрость тем и отличается, что поверяет разум верой душевным опытом. Потому почитай старших.

Уважение к отцу пересилило сомнения в необходимости его молитв, и скоро сам Иван шепотом вторил отцу: «прости их, не ведающих».

Никто совершенно не роптал на громкий голос Степана, смиренно снося внезапное, иногда среди ночи пробуждение, понимая душу другого, а ещё оттого, что столь необычно внушаемое веление не хранить на сердце зла наделяло-таки обездоленных ссыльных силой, способной совладать с печалью.

Им стали возвращаться сны. Они дарили утешение эпизодами прежней жизни, возвращали в родные стены, в размеренный и спокойный быт, на малое счастливое время избавляли несчастных от представлений о будущей жизни и будущей смерти.

3

Детворы в Радостинах спокон веку было много. Семьи с числом ребятишек до трёх такими считались только благодаря мамке на сносях. Для нарождения новых жителей обстоятельства имелись готовые: мастеровитая повитуха Бабаня, чтоб не говорить длинное «баба Аня», церковь под боком для ритуала и население в торжественном ожидании очередной трехдневной выпивки, ибо коли вера триедина, таково и празднество обязано быть. Об ином не шути даже.

«Найменькшы человек несе найвенькшу радосць», – заявляла православная полька Бабаня, вручая мамке очередное чадо. Никто уже точно не мог поведать, почему пани Анна оказалась в глухой белорусской деревне, какой силы ветер унёс облако ее сердечной теплоты с радужных мазовецких небес и осадил в зеленые туманы белорусского Полесья. Любовь, – говорили.

Детей родители с малых лет приучали к обязательному труду и воспитывали с ласковой строгостью. Будто извиняясь за то, что произвели их на свет вдаль от возможных соблазнов, собирая по теплой поре обоз на уездный воскресный базар, брали ребятишек с собой по очереди, начиная с младшеньких. Первые же деньги за проданный товар, будь то гусь, окорок или просто фунт со слезой масла – тут уж как повезет – тратились на баловство, ибо нет большей радости, чем видеть своего ребенка счастливым, со слезами восторга выбирающего в лавке кондитера всё, просто абсолютно всё, что пожелает. Но без жадности, чисто и скромно.

Потом закупались обнови огольцам, затем обязательно соль и приправы вкусовые, непременно книги, и только на оставшуюся выручку родители позволяли что-нибудь себе, платок нарядный матери, к примеру, или духмяного заграничного табачку отцу. Сыт небось махоркой пахнуть.

Когда в девятьсот пятом стали воевать японца, жизнь не нарушилась, потому если где и ходили-летали невзгоды, то мимо них проковыляли не влиятельно на спокойствие настроения. Жизнь дышала привычно.

Ребятня в деревне не скучала, летом так и вовсе. Пацанята цапались частенько, да скоренько забывали обиды, разбивались на компашки по интересам; кому рыбалка, кому грибы – ягоды, да мало ли кто о чём зимой мечтал. Пока стояла теплынь и длинющий день сулил «до холеры» работы, вода в озере всегда удивляла тем, что после купания ладошки и ступни ног делала неестественно белыми. В этом озере проживает избыток чистоты, осенило однажды пацанов.

Рожденные под пение птиц, шорох листьев, запах трав, плеск рыб, крик зверья, вой пурги и скрип снега, малыши получали с первых своих шагов наследственную самостоятельность, ибо как еще можно объяснить способность даже самых маленьких не потеряться в дикой округе, знать полезность одних растений и вредность других, отличить съедобный гриб от ядовитого, ужа от гадюки, сорняк от полезной травы, проходимое от гиблого болота.

В лес они, босоногие, шли с ивовыми прутиками, ошкуренными до блестящей скользкой влажности, в поисках грибов приподнимая волнами лежащий вереск, зная, что окажись там гадюка, примет она белизну, неожиданно возникшую пред ее глазами, за угрожающий цвет белой человеческой кожи, пронзит эту обманку насквозь своим единственным зубом и, не в силах вытащить обратно, повиснет беспомощно и жалко на более тонком, чем ее обреченное тело, прутике.

Гадюк убивали, убивали, убивали, но не было им конца.

Удивителен был сосновый бор: узкой, не более полверсты вширь полосой разрезал он болотное свое окружение; опираясь на дивную для этих мест песчаную гряду. Гадали, что именно соснам, стройным и годным всякому строительству, была обязана деревня своему

здесь, в девичьей глуши, рождению. Тянулось сосново-песчаное чудо верст на восемь, в стороне восхода упираясь в «дальнее» озеро, большое размером, с берегами из перегнивших останков трав и кустарников, покрытых мхом – зачаточное состояние торфяника – и опоры ногам не дающим. Никто не пытался его переплыть в любопытстве к далекому, у самого горизонта только в ясную погоду наблюдаемому берегу, потому как дотащить сюда лодку слабо, а махнуть вплавь или же на маленьком, срубленном здесь, на песчаном берегу, плотике никто не сходил с ума. Больной надобности не имелось. Ближнее, у самой деревни, озеро вдоволь питало рыбой, манило близким островком с отмелями, богатыми ершом: лови себе, сняв трусы и прихватив узелками штанинки.

Доплыть к островку на лодке, что раз плюнуть, потому со старшими ребятами безбоязненно отпускаясь сопливая мелкота, самые в компании бесстрашные и опытные робинзоны, пираты и добытчики страшных кусачих раков. Только представьте себе четырехлетнего покорителя всех стихий, беловолосого и голубоглазого, с веснушками на носу. Еще на берегу он срезал тростниковую трубочку, зарядил ее внутреннюю полость украденным у отца самосадом и теперь имеет настоящую сигару славного пирата Билла или нет-нет, грозы всех морей атамана Джо по кличке Бешеный кит. «Не бойсь, пилаты, – говорит он, ступая на борт, – здесь бесеный кит, всем каюк, впелед, на аболдаж». Затем он тянет, встав во весь рост на носу лодки, руку с зажатой между пальцами «сигарой» в направлении островка и кричит громко и серьезно: «Впелед, дети мои!». Дети, втрое старше, старательно гребут, изображая исполнение приказа. На острове же, прикурив от костра, тщательно изображая взрослого, пыхтя дымом, правой рукой относя свое произведение из кустов от губ и опять поднося к ним, уперев левую в бок и замерев локтем, говорит малой, наблюдая за приготовлением ухи: «Пилаты! Лыбку кусай, как глаз у ней на лоб пльгнет. Ланьсе она сылая будет».

Ребята постарше, подобное щегольство познаниями уже не считая скромным, вовремя извлекали из ведра готовую, но еще не разваливающуюся на части рыбу, выкладывали на крупные листья лопуха и погружали в бульон очередную порцию. Сварив уху, в золе запекали картошку, прихваченную из дому, и скоро начиналась трапеза. Горячую картошку омывали в озере и, не очищая, ели с рыбой и запивали ухой, остывшей до возможности взять ведро руками, но еще теплой и пахнувшей ароматами настоявшихся в ней совсем не случайно сорванных трав. Нужды в иной посуде не возникало, да и кто даст на пропажу; солью, достававшейся горбом и мозолью, не баловали, – перебьются. Огонь для костра пацаны везли в угольках из печи в том же ведре для варки и ответственный – упаси Господь – частенько, сунув голову в жаркое нутро, дул на угли, отчего чернела его мордашка и обжигались ресницы, и тогда кто-нибудь напоминал:

– Ой, глянть, пацаны. У Васька-то мордень потемнела равно, что у деда Прокопа на отпевках. Ну чисто дед во гробе, лицом темень встретил, неровен час, ад узрел со сковородками и чертями за грешным делом.

Случай был известен всем.

– Матушки, – заголосили тогда бабы, – ково хрена чернет-то?

На крик прибежал батюшка. Он уже закончил отпевание покойника. Покрыв того толстым цветастым новым покрывалом и велев мастеру столярных инструментов Синчуку Федору Савельичу немедля заколотить домовину, прошествовал за алтарь, протер передником рясы стакан и даже вытащил бумажную пробку из принесенной ему по такому случаю бутылки. Ан отвлекли, нечестивцы. Савельич проявил глупость несусветную: вместо шустрого забивания гвоздей он придумал еще разок попрощаться со своим другом поцелуем самым последним и опять открыл его лицо миру. Тут нервные и заорали.

– О Господи – горестно кричал тогда батюшка. – Не углядел, доверил, отошел на минутку, спаси и помилуй.

Он опять набросил покрывало на темнеющий лик Прокопа, веля немедля употребить гвозди, и вынужден стал объяснить:

– Очень не волнуйтесь, сестры. Ныне душа, тело осветлявшая, как ей и положено всевышним, имеет прощание с телом и возврат в уделы Отца Небесного нашего... Возрадуемся же, скорбя, ибо душа покойного там, где надлежит. Аминь.

Неприменно, успокоились, но диву даются до сих пор; надежно погрузла в память промашка батюшки и обнаженный случайно краешек тайны, равно краешек бездны.

Нет уже отца Павла, в миру любившего зеленого змия, объяснявшего в том грех зрящим, что пьяное состояние, ума уменьшая, а то и безумством грозя на чуток жизни, однако же человека с блаженным равняет на сей краткий срок, потому и до Всевышнего творит сближение. Слаб есть грех в самом опьянении, но хранись от непотребного при том поведении, ибо недобрым знаком выглядит поутру на иной жинке синяк под глазом по причине воистину греховного отсутствия меры питья у господина её супруга.

«Сам ты Савельич» – обижался чумазый хранитель огня и вполне непринужденно матерился в сторону матери обидчика словами, природу которых в свои шесть лет вовсе не представлял, но научен был, как и пониманию того, что за такие слова детишек лупят крапивой.

Ухватила своими цепкими руками и прижала к себе память игру огня с деревом в самом начале, когда поленце, на ленивых будто, бордово-черных угольках величиной и весом норыщее затмить бьющееся под ним сердце, вдруг соединяется с ним единым выбросом света.

Что есть передача огня? Любовь.

И обретали в надежде взирающие на процесс рождения костра юные мужички прочную веру в свою раннюю самостоятельность.

Но главная радость пребывания на островке имела не во временной способности ощутить себя взрослым, не в наслаждении вкуснейшей ухой и наблюдении огня, не в купании непрерывном и примечательных сборах внутри шести кружком стоящих сосен, служивших основой крытому соломой навесу, на случай непогоды уберегавшему, и манящему тенью в особенную жару.

Сладкое замирание их сердец предвещалось еще тогда, когда они, пуская слезы и затирая их затем чумазыми кулачками, просили дозволения родительского провести на островке ночь, обещая примерное поведение и непрерывное ухаживание за костром, дабы волнение за детей успокаивалось непрерывным посреди озера источником огня и света. Именно так: огонь гасил тревогу, как ни странно слышать, что он в состоянии что-либо загасить.

Ожидающийся восторг жил в возможности проводить по воде уходящее солнце с одной стороны островка и, перейдя на противоположную, хранить в себе столь редкое радостное ожидание. Ожидание нового света случалось таким.

Действо данное приближалось исподволь; как о всяком естественном событии, напоминать о нем лишено было смысла, и привычно малышня резвилась; всяк находил себе забаву, – кто песчаные замки строил, кто готовил дрова костру, кто, шутник, зарывался в песок почти целиком и, прикрыв голову лопухом, звал играть в прятки, а кто-то напрочь не вылезал из воды, к вечеру контрастно наружного воздуха как бы теплеющей.

Нежданно, потому незаметно к озеру медленно подходила тишина. Шла она, большая осторожная зверюга, скрываясь в растущих тенях деревьев и, оголодав за день, с беспощадной неторопливостью пожирала аппетитные громкие звуки, не гнушаясь затем испуганными, часто потому последними шорохами и всплесками. Наступала великая слышимость.

В минуты, когда багровый, в разводах, рисуемых лохматыми кистями мимо летящих туч, шар опускался в кроны где-то там, за селом, садились ребятки в мелководе у берега и замирали, глядя закат. Скоро затихал самый даже малый ветер и обращалось озеро зеркалом. Казалось, не отражение светила, а красный, далеко высунутый язык непредставимо громадной

собаки лакал из необъятного блюда, при том ласково задевая детские, вытянутые в воде ножки. Уходило солнце, освобождая пространство только слуху; вдруг онемев, не в силах нарушить словом своим владений тишины, замирали малыши, вполне как бы напуганные своей совершенной малостью в мире столь быстро растущей и всепоглощающей темноты. Вода испаряла аромат жизни.

- Там, на берегу, замирала работа. Уменьшались и вовсе прятались в печные трубы дымки.
- Мамка борщ сварила, – словно очнувшись, говорил один.
 - А мои самогону, – эхом отзывался другой.

Наконец разливалась темнота и опускала в озеро небо, маня прогулкой по сплошному и потому казавшемуся плотным насту звезд. Но именно в этот, волшебство обещающий миг, особенно злобным становилось комарье, вынуждая уходить под защиту костра, его теплоту и огонь, к жалости, застилающий сияние звезд. Собравшиеся кружком вокруг пламени и слушающая музыку горения сквозь редкие потрескивания, воображением выдаваемые за прощальные всхлипы, сидели они так до рассвета, а если поднимался кто на ноги – его исполинская черная тень неслась по водной глади, словно настало уже время заглянуть в окна уснувших и милых домов.

4

Почтальон.

– А сообщи-ка мне, друг ты мой старый хрыч Силантий, какой такой выдумал ум для нашего темного поселения имя Радостины? Кто и когда тут радостным козлыком прыгал, злато копытцем сгребая в сундук? Молчишь, мой друг пенек любезный, именно как некурящий и первачка глотнуть не слаб, за что прими уважительное почтение. Ведь как смог, как, вошь едрена, смог этот человек до восьмидесяти годков докосить траву корове на зиму и не курнуть, ум дуреет мой при таком факте. Я только свет божий узрел и нашу глухомань око л, так и закурить пожелал. Из хаты на своих впервой вышел, сразу цыгарку у батька изо рта изъял и в свой немедля, от раннего понимания, в каком таком расчудесном месте я родился для неминуемого восторга жизни. Вдохнул в себя дымок, подурнел, облегчил понимание грусти. А теперь всякий вынь из глаз огорчение и клади мои слова в свои уши. По малости годов при безвылазной отсюда жизни очень я ошибался, братцы мои, потому как в других краях человеку еще тяжелее без цыгарки проживать в таких избах, в каких наши псы радостинские могли бы и не пожелать.

Получил я призыв нашего батьки царя сбросить в самый тихий океан наглого японца и вслед такое путешествие по Руси громадной, что всякому дай Господь глаза чуток поширше. Города повидал большие с малыми, реки-озера огромные, леса-поля бесконечные, однако же и мужиков с бабами, кои, грешным словом, пьют безумно и запросто в пыль могут упасть прямо среди дороги наплевательским образом. Ладно бы в травку, так им пыль любя, – где захочут, там и сны глядят, – жалкая досада, скажу без тайны.

Может ли быть в такой обстановке человек человеку братаном или, если то баба, сеструхой во Христе? Уж больно там любят, по причине желания выпить или по характеру жизни, друг у дружки, сказывали мне, что-нибудь, а украсть. Иное дело среди нас. Ни замков на дверях, ни заборов хрен чего за ними видать, а хочешь курочку соседскую – он тебе запросто отдаст, только не воруй, мил человек. А коли выпить, так наши люди сначала поделяют работу, вечер дают себе право и никогда – с утра. Ну ежели иногда, по праздникам святым, что простительно. Али нет?

Потому радостным я вертался с войны в нашу лучшую в свете глухомань с благодарностью, что поселил нас Всемогущий далече от дикой суеты, и чем поздней доберется всякая к нам пакость, тем отрадней. Говорю честно, хотя имеюсь в примаках за сварливой, японский городской, а таки отходчивой жинкой, тайны тут нет.

И такой был я радостный, что о своей половине ноги слабо жалел, но знал – сучает она по мне, чешется при полном своём отсутствии, как бы обиду выразить желает, что не простился по доброму, и где она теперь по мне тоску блюдет, оскорбительно не знаю.

Ежели, братцы, случится кому терять ногу, так с моим сердечным уважением пожелаю, чтоб сделал это наподобие того, как я. Наливай стакан. Клади в свои уши всю чистую правду. Отцом, Сыном и Духом Святым вот так крещусь и говорю: лежу я, братья и сестры, посреде ромашков и разных других цветков, о каких знать не имею понятия, загораю на войне в тишине, хорошо и душевно наблюдаю пташков разных, что над страной Китай летают и песни поют, надо сказать, веселые. Голодный лежу. Чуток оттого слабый, заснул случайно и лучший в жизни сон получил. Мужики, вам такого век не видать – в цвету всё, баб видимо-невидимо, любая не отказывает и дает такое ощущение, что ты целиком и полностью живой в разных, кто

понимает, видах. Что бабы такую сласть могут предъявить мужику, до того сна ведать не ведывал. Подробность при детях никто не пытай, догадывайся. Значит, в райском саду иль в каком гареме, девки молодые да красавицы, на всякий маневр способные при полном моем удовольствии. От счастья думаю, кого ж тут можно было б в жинки пригласить, но хотя сам во сне, соображаю таки, что в сладком изобилии гулящих баб той не найти, чтобы рубаху регулярно стирануть хотела и портянку нюхнуть с почтением. И что вы себе думаете? – тут же мне сон такую женщину подсылает, сказка да и всё... Вся такая в блестящем и белом, лицом и фигурой хороша, да таким смотрит нежным образом, что сразу видать, что не курва, – детки, не ругайте дядьку за плохое слово, – а вполне достойная чувства и парным молоком пахнет. Мечта!

Задышала она мне в ухо тепло, светом вокруг засияла и стало мне так радостно, что взлетел я птахой, но вот не понял, в небо ли путь имею или в пропасть падаю, но лечу, лечу... Солнце при том впереди вижу, яркость невыносимую. Потом все как лопнет вдребезги, и – чернота-а-а...

Просьпаюсь. Матушка моя родная, богородица небесная, а где ж, спрашиваю себя, лужок с цветочками разными, солнышко где ласковое и птахи в песнях? – белый вижу потолок в мухах, вонь лекарственная прёт и невесть откель шибко матерная речь о том, что больно и подохнуть позвол, чем так злобно мучить, а злодей лекарь величается и таким, и разэтаким образом, стыдно будет сказать при детях. Глазам не верю, думаю, переменял картину сна, в каком точно успел обжениться на крале и получил вот такую реальную обстановку дальнейшей жизни. Но для полной правды ущипнул себя под глазом и дернул за волосы. И шо вы за меня думаете? Не сплю, братишки, никак не сплю. И тут – снимайте шляпу – входит через дверь, одеждами бела и светла ликом один в один та самая кралечка, что давече снилась, несет что-то на предмет пожрать или в задницу острым; ласковый знакомый голосок всё ближе, всё ближе. Очухались, – нежно говорит, – а то седьмой день пошел беспамятсву-то Вашему, ой как хорошо, что тепер Вы своими ручонками ложечку-то и возьмете, мимо рта-то никак не пронесете и благополучно поправитесь. Непременно! А нога? Без ноги обязательно можно жить, хуже, ежели без достоинства, но на это достоинство Ваше целым цело в полном своем здравии и вовсе на заглядение, потому супруга Ваша повороту такому обязательно не огорчится.

Ни хрена не понимаю, в башке будто кто самосадам начадил, развел отраву в густом тумане, мозги гудят и не желают ничего думать. Одна только мысль о ноге пробилась, тогда шевелю пальцами на правой, потом на левой шевелю и утомительно соображаю: таки врешь, едрена медицинска вошь. Пальцы чувствительно живые! Меня, когда надо, обмануть тяжело.

Трохи я обидел бабу плохим словом и недоверием вообще. Неласково та на меня зыркнула и решительно одеяльце с меня вон. Смотри, говорит, сам дурак, и в слезы ударилась тихонько так, без голоса жалеючи. Мать моя пресвятая богородица! Укоротили, не спросясь, мою правую несчастную ногу аккурат почти вровень с тем самым достоинством, если, конечно, шутить. Таким вот образом и должен настоящий солдат терять на войне свою ногу: ни тебе крови, ни тебе страдания, один, японский городской, медовый сон.

5

Утром третьего дня медленного отдаления от прошлой жизни и родного края щетина на щеках у взрослых мужчин стала требовать либо ее, дуру, сбрить, либо немедля помыть, а то придется, соколик, все чаще и чаще унимать зуд растущей бороды одновременно отрастающими ногтями. С другой стороны какое-то разнообразие появилось до того, как откроешь глаза.

Не видя уже прежде частой улыбки отца, обнаружил для себя Иван его, тридцати – всего-то – восьми лет, преждевременно постаревшим, с лицом исхудавшим враз и потемневшим, словно навсегда накрытым сумеречной тенью. Жизнь, и прежде не дарившая праздных радостей, теперь не предполагала их даже в самых дерзновенных мечтах. Иван, по линии отца отроду не имевший деда, Василия Степановича вечной памяти, принявшего прежде времени смерть за Веру, Царя и Отечество, всегда, сколько помнил себя, имел сильную жалость к сиротству своего отца. Прилег дед в землю русскую спокойненько, наследовав оставаться единственным при двух сестрах и заболевшей матери малых, но ответственных лет сыну Степану.

Шел тысяча девятьсот пятнадцатый. На запад – на восток – на запад – на восток шаркала война империй метлой по равнинам западной Белой Руси, неотвратно и беспощадно сметая со своего пути человеческие, в мусор обращенные судьбы.

В глухой стороне от легких для людского движения дорог, в нетронутости своих домов, в уберегающей незаметности для воюющих сторон жила-была родная деревня Степы; никаких не слышала стрельб и взрывов, не наблюдала за окнами ползающую туда и обратно пехоту, пролетающую на штурм и отлетающую прочь конницу, не вдыхала запах разлагаемых солнцем брошенных окрест тел. Где-то в стороне простиралось царство непрерывно изливаемых кровей и страхов, в ненасытные пределы какого удалились, сапожищами втаптывая в пыль слезы детей и женщин, унося над сердцами тепло расцелованных нательных крестов, пятеро верных долгу и присяге земляков.

«Хлеб всему голова и только честь – превыше хлеба».

И пусть село отдалено было от уездных властей на двадцать верст бездорожья и по сути отторгнуто от нормального сообщения, и не было из него дороги, кроме узкой, в тележную колею тропы, оно не существовало вне страны и ее повинностей. На сбор податей с «болотного» селения махнули рукой и, к удовольствию крестьян, по этой части существовала благодатная вольница при всех русских царях, конечно же, не имевшая шансов длиться вечно. Нет, то не была Богом и людьми забытая обитель, и не староверами основана – не слышать в тех краях о староверских поселениях, скорее от смут разных бежавшие люди строили ее. Сказывали, во времена восстания Костюшко сначала им гонимые, а затем примкнувшие к нему и разбитые нашли совместное спасительное пристанище в дивном оазисе среди девственных болот западного Полесья. Получилось так, что удалясь некоторым образом в затворничество, обрели люди свободу, прежде жившие в обществе и зависимости, едва ли не рабской. Здесь, внутри изумительных красот болотного края, никакая сволочь не могла мешать доброму народу возделывать поля и сады, растить скот и птицу, пользоваться дарами леса и озера, прилежно соблюдать праздники и посты, исправно посещать рубленую из сосны церковь, хранить в семьях любовь, рожать, крестить, растить детей, образуя их в приходской школе, хоронить усопших и провожать их в рай, ведрами пия хлебное отменное вино домашнего производства. Самообеспечение деревни практически было полным, за исключением некоторых важных вещей, добываемых посредством торговли и обмена с внешним миром.

Необходимо объяснить, что в армию по призыву, Отечество уважая, ходили из Радостин исправно, поскольку не служивший мужчина считался, по невесть с каких времен традиции,

слабо годным носить гордое звание жениха и вызывал подозрение на предмет наличия у него изъяна, а потому настороженность у женского полу. Простая ситуация: невестится девка с парнем, а тут беда-повестка; суженная в слезки, все провожания плачет без отдыха, все белы дни, а пожалей несчастную, не пожелай на действительную службу идти – легко завтра даст отворот парнишке, прокаженному будто. «Честь превыше...»

В оправдание такого факта положения дел позволительно озвучить весьма занятную, но живую версию.

В те самые времена свободолюбивой для поляков гульбы пана Тадеуша Костюшко на сторону русского царя дружно пошли белорусские крестьяне, собранные в рать крепким мужиком по имени Александр Лавринович и, не щадя живота своего, хорошо помогли набить морду свободолюбию нелюбимых шляхтичей. Неслабо получил пан Тадеуш от Саши, потому за такой подвиг пожаловал царь Лавриновичу дворянский титул и многия земли, прежде отнятые у сторонников свободы и независимости польского, в хвост и в гриву любившего белорусов, народа. Соответственно, стал герой наместником царским на этих землях, зажил в прекрасном поместье, при прежних хозяевах «маёнтке», полюбил коньяк и рисование окрестных пейзажей, оставаясь при том добрым и богочестивым, кем, собственно, и рожден был. Топить душу в роскоши не желая, большое внимание обращал тому, что боевые соратники его вновь воротились к мужицкому, чаще батрацкому труду, совестью своей и волей как мог облегчал им жизнь. И немудрено, что позволил освоить земли, прежде не приносящие дохода, безо всякой за то ренты. Возможно, и появилось наше село в результате именно подобного благого начинания, своей справедливой жизнью укрепляя устои власти. Любил новоявленный помещик красивую музыку, песни и театральные сцены, праздничные хороводы из красивых дев, коих обожал интимно пощупать по добровольному согласию вплоть до немощных лет своих. Вблизи маентка заложил он рошу числом одна тысяча семьсот девяносто пять дубков, равным году основания, и до сих пор великолепные ее ряды хранят о нем память, ибо памятник почтенному основателю снесло лихолетье, а могильный холм сравнял с полями каток одной из небрежных войн. Поместье наследовалось сынам вместе со способностями к изобразительному и музыкальному творчеству, но никак не купеческому, потому прирастало одной лишь своей красотой. Германцы, встав на полесскую землю, не тревожили Лавриновичей; красные творцы мировой революции нечаянно скоро получили в зубы и откатились далеко на восток, не успев пощекотать штычком брюхо классовому неприятелю. Речь Посполита слегка урезала земель и позволила усадьбе, а скорее к тому часу картинной галерее с множеством в ней простых и драгоценных полотен источать из окон сладкие звуки фортепиано; пан Пилсудский соизволили навестить. А затем грянул сентябрь тридцать девятого. Будущее еще как настанет...

Надобно заметить о том, что не только белорусы по рождению, но и украинцы, и потомственные русаки двух фамилий из беглых крепостных смоленских, и дива дивного серб поживали в благодатном уединении, в Радоснино, душа в душу. Разумеется, по пьяному норову почему друг дружке иногда в мордень не задвинуть? Не без этого. Обиды не возникало, один только повод с утра, ежели праздник, выпить мировую, а коли работать надо, то неизбежны вечерние объятья и взаимоуважения. Вдалеке от мирских неписаным сводом деревенских законов служили правила, основанные на вековечном понимании добра и небес обетованных.

Поживали полешуки, зло не творя и отторгая из сердца, детишек в школе пороть розгами позволяя, но по справедливости, дабы понятна дитю была польза уменьшения от такого наказания дури и прибавки ума да прилежности, а не запросто для проформы. Науку чтя, сами же, случись у кого-нибудь внезапный падеж коровенки, живо обсуждали событие в поиске причины, с неизменностью находя ее в нечистой силе. К чертям, домовым, наядам и прочим носителям поднебесной тьмы отношение искренним испугом пронзилось: «Крест не от всякой нечисти охранит». Думается же уверенно, что неприятности относились на счет потусторонних сил еще и оттого, что ожидать пакости от односельчан никому и на ум не приходило.

До войны империй неизменными были воскресные выезды сельчан: иной навестить родственников или друзей-подруг по-соседски, иной на базар уездный обменять товар на ассигнации. Ближнюю деревню восьми верст удаления посещали, гуляя пешком и целым семейством, радуя деток новыми горизонтами.

С наступлением вселенской драки оскудел досуг: принимать гостей и гостевать выдавалось все реже и труднее, а семьям, грустно отдавшим своих мужчин фронту, так и вовсе не позволяло настроение. Главным, а порой и единственным источником вестей стал служить неутомимый и первый теперь парень на деревне, к особенной женской жалости одноногий участник «отражения настоящей японской гадости» тридцатисемтолетний Петр Семёнович Морголь по прозвищу Кульгавый. Петруша на кличку не злился, он всех жалел и любил, а уж деток, по поводу деревяшки вместо ноги злословящих, старался наградить сладостью и всегда носил при себе карамельки и липучки, мармеладки и тянучки, выбирай, что хочешь, братец, и беги о двух ногах.

Новоиспеченный почтальон старался регулярно «ковылать в уезд», за труды получая какую-нибудь копейку, а в отсутствие внятного денежного обращения – благодарность и частью то, чем богат был получатель и сколь ценил послание. Поили же вусмерть.

Отправив на войну пятерых односельчан, ожидание Петра из поездки превратили люди в ожидание беды, сознавая роковую ее неминуемость и украдкой облегчая слезой. Первая же весточка о ратных трудах Степанова отца случилась казенной бумажкой о его отважной гибели, и стала седой матушка и слегла в немощи, а затем вповал и вдрызг помянув, вся мужицкая доля села – очень уважаемый был погибший человек, трудолюбивый и прямодушный, вечная ему память. Прилежному в послушании и отныне единственному мужчине в семье не претила мама и пил ее сын Стёпа наравне с другими горькую и далеко не первым рухнул в картофельную ботву. Бабы своих мужиков по домам не разносили по причине свежего июньского воздуха и не очень злобных на пьяного человека комаров по случаю не вкусной у них на тот момент крови.

В течение тех горестных поминок без устали ухал в главный церковный колокол и плачем встречал каждую подносимую ему прямо на колокольню чарку единственный не годный к военной повинности, жалеемый всеми добрый человек, умом от рождения тронутый и назначенный по смерти в рай. Прозывали его Федор, тридцать лет без малого он уже прожил, обычно всему улыбаясь, а здесь ревел подобно грудному голодному младенцу. Как бы заместо молока поили его от души перваком, и закуска при нем была, но, то ли не уследили, кушает человек или одним питьем пробавляется, то ли еще какой грех случился, кто ж его знает, однако утром нашли Федора умершим. Там, на колокольне, и отошел он в мир вечного счастья, храня на грязном лице высохшие ручейки слез и, вероятно, в последний миг посетившую его губы улыбку.

Хоронили всем народом, приведя на отпевание пацанят и принеся грудных, оставив отворенные настежь дома. Извещал батюшка, провожая душу Федора, что странное чудо есть такая смерть, впервой на его памяти имевшая место в пределах церковных, и что коли попустил Господь такое событие в обители любящих его чад, имеется в том знак, а именно о грозе наступающей людских тягот и бед, спаси и помилуй.

Запомнилось.

Вокруг гроба стояли стар и млад, сохраняли язычки пламени на свечах, каплющий на руки горячий воск внимания не имел. Когда же кончилась проповедь и каждый сомкнул пламя меж большим и указательным пальцем, стала скорбная тишь, и почти в тот же миг замычала, заблеяла, заскулила, захрюкала и вовсе невесть как заговорила оставленная без корму в опустелых дворах сильно опечаленная животная тварь.

На малое время пришла жуть...

Как и не прерывались, последовали поминки, но сквозили грустью, и слабо брали выпивкой тонущих в тяжких мыслях мужиков; самогон вдруг оказался жутко противным, в глотку не шел, вызывал рвоту. Праздника по причине расположения в райском саду души отроду мученика Федора не получилось.

Похмелье оказалось злым на яркий свет солнца, безоблачный щебет птах и сочувственные взгляды жен, подносящих в помощь мужьям жбанчики сквашенного березового сока.

6

Ветра и люди.

Полученного взамен оторванной ноги Георгия четвертой степени, потому первый парень на деревне, почтальон Петрусь тщательно отполировал намядни высохшей, а прежде отмоченной в озерной воде портянкой, затем обмотал ею единственную свою ступню, вдел в навощенный свиным жиром сапог, приладил к обрезанной деревянную «ногу», подошел к висящему украшением стены маленькому круглому зеркальцу, водрузил боевую награду на льняную, домотканого материала рубаху ровно насупротив сердечного стука и с удовольствием на себя посмотрел, не смущаясь трехдневной щетины и похмельного блеска глаз.

Не каждый день в поход идем, пришло ему на ум, имеется важный смысл выглядеть культурно. «Пока ещё живой», – нечаянно опалила лицо дурная мысль; по причине ее прихода Петя искренне перекрестился.

Так, первым делом двинем к Марусе. Вот бы обойтись в данном желании без «к», однако таки утро, просмотр ведется буквально наскрозь. Башка моя – беда моя. Спаси и сохрани.

Опять оглядел себя Петр; стал доволен. Отсутствие ноги не докучало, кое в каких занятиях так и вовсе не хранило значения. К тому же способствует для маскировки на случай, ежели кто захочет иметь супротив тебя козни и желает сражения. Ну, какой тебе, хороший господин, может быть врагом инвалид одноногий, бедненький такой, щупленький такой инвалид. Смотришь, у супротивника бдительность как рукой сняло, а это нам только подавай. Притом он на двух, а мы на трех опорах стоим: нога обычная, нога из дуба, крепкая палка из дуба молодого с набалдашником медным – дополнительная нога. Попробуй нас сшиби! Конечно, речь ведется о трезвом образе. Беда, что только о трезвом и когда земля стоит твердая. По болоту пехом очень неудобно. А с перепою, да проронивши ненароком чё? – хоть палку, к примеру. Конец счастью и грязные штаны. Где напастись мыла? Мордой в землю тоже случалось. Когда двуногих земля не держит, одноногому вовсе кранты.

Но посмотрел из зеркала в глаза Петру вполне симпатичный мужчина хоть куда собой и удалил неважные мысли. Всё! Готов!

В никому не желаемой жизни без опоры, в нашем случае без мужей, вспахивающих теперь поля войны, деревенские солдатки, молодые, ночами снящие мужнину ласку, въявь и грезить об утехе боялись по причине бдительной родни и возможного позора. Остановись какой ушлый мужичок подле калиточки перекинуться с молодухой парой слов за погоду аль виды на урожай, – уже повод для пересудов; а не приведи господь за порог ступит, – целое подозрение организуется, большой соблазн у старых баб на любимую тему меж собой пошамкать слова во ртах беззубых. Уж как веселы они тогда, глазки уж и не видят ни хрена, а блестят, будто кто в них постного масла налил.

Кульгавого бабоньки не чурались. Почтальон – это раз; визит оправдан. Инвалид – считай, что два: защита от грубого домогательства вполне бабе по силам, да и при живой супруге пребывает человек. Так рассуждали хранители достойного поведения своих своячениц, одиноких по причине подлой вселенской бойни. Петрусь был мужик умный и даже по пьянке языком не бренькал, и совсем не случайно молодухами был очень уважаем; всяк его визит в уезд сопровожден был искренними во взглядах переживаниями за соколика.

В тот утренний час отметила сторона наблюдения подозрительно длительное вручение Петру треугольного послания любимому и незабвенному законному мужу от «верной по гроб

жизни» златокудрой и острой на язычок Маруси, весомый пузырек с не слишком прозрачным содержанием и деревянной пробочкой – на дорожку от Анюты в дополнение к явно имеющимся, закуску разную в белом, наверняка омытом слезами рушнике из белых, по детски пухленьких Настюшкиных рук, молчаливый плач Верки и черные, бесконечно черные платки на плечах у всех молодых солдаток; надежда крепила их печальную дружбу.

Село на взгляд высоко летящего журавля ложилось крестом. По центру выдавалась церковь, один из лучей – отходящим от нее кладбищем, еще три образовывали улицы, под прямыми углами идущие к храму, где после провожания молились наши молодые женщины во имя успешного пути почтальона и добрых вестей.

Лошадка Петра, кем-то сдуру названная полной доходягой, в упрямый ответ получила имя Ласточка, после чего для сбережения спокойствия хозяйских нервов, а дубовой палки – от работы, никакой шутник по её поводу худого сказать уже не желал. Телега, накануне смазанная в осях дегтем, скрипу не издавала и по ходу дела настроение не гробила. Брошено туда было три охапки свежестью приятно пахнущего сена аккуратно поверх винтовочного обреза на случайный дурной глаз и три емкости самогона на предмет доброго к себе отношения.

В тот день дождь не обещался, иначе знахарка дала бы прогноз; лениво общались меж собой собаки, ветерок едва-едва щекотал усы, из далей дальних не прослушивался кашель выхаркивающих снаряды пушек, тем боле отсыревшей в окопах братвы, соплями при том гремящей. В Антарктиде ни в какую не таяли льды, в Африке аборигены кушали неведомые бананы и прочие кокосы, жарились на сильном солнце и еще пуще чернели; их родичи в Америке хотели стать равно такими, как белые над ними начальники; в стране Китай вполне обоснованно некоторые приятные женщины поминали словом добрым русского богатыря Петра, особенно если среди бамбука шастал веселый не совсем азиатской наружности карапуз. В городе Тула клепали винтовочки. В городе Москва кумекали, где чего купить-продать. В стольном граде Петра пролетарии (откуда и куда они пролетают, совсем было невдомек) хотели за свои труды, за пушки-снаряды и проч. военную утварь больше хлеба и масла, не здорово понимая, откуда, ведь крестьянин сплошь воюет и ему недосуг пахать и косить. Но некоторый пролетевший, прозрев будто третьим глазом и оковы тяжкие, значит, на себе вдруг найдя, кричать стал, что цепи эти надо сбрасывать исключительно сообща и при этом, а то ведь не спадут иначе, коллективно набить кому-нибудь жирную морду. На сей момент они еще не очень понимали, кому, но ребят, желающих им это подробно объяснить, числом пребывало. Надвигалась всеобщая потеря разума, чувствовал Петр. Еще бы, коли все разнообразия и безобразия мира крутились на разном своем удалении от своего спокойного абсолютно, потому центра – полеского села Радостино и позволяли пребывать в трезвом о них размышлении...

Никакой здесь, т. е. в деревне, хреновиной пока и не пахло; собака с последнего перед лесом двора гавкала на ворону, та обижалась – за что?! – и возмущенно каркала; встретился волокущий мешок боровиков дед Антонин, только кивнул в ответ, поди усталый, а затем враз пропали из виду избы и погрузился путь в тихий гуд деревьев, в неумолчное стрекотание из трав, в крики и напевы птах. Нет, не завидовал наш путник свободе полета, но, от природной безмятежности одуревая, немедленно возжелал выпить. Разумеется, за здоровье природы и населяющих ее обитателей.

Извлек Петруша шкалик, откупорил, перекрестил им во все четыре стороны безмятежную вокруг идиллию – «живите и размножайтесь» – и одним махом «уконтропупил» половину емкости. На травках исполнен был первак, прилежно. Помянув Анюту ласковым словом, обождал Петруша «прихода» и, когда опустилось тепло в пах, стал он сильно душевный и глубоко начал жалеть мужиков, одной косьбой-молотьбой занятых, и баб – за их неумный недосып. И до того пробрало его сочувствие к изо дня в день однообразному, радости поющего полета

лишенного человеческого существованию, что сам бог велел кончить шкалик. Или черт попутал?

Как сказывал он потом, «Анюткин первачок ни при чем был, это все блятска жалость повинна, шибко бьет жизнестойчивость и больно ослабляет целый организм и отдельные члены».

В переводе на теперешнее исчисление поместил Петя внутрь без малого литр и, значит, повалился на мягкое сено. Сначала, ясно, песни затеял горланить, душе подпевая, вот на каком-то слове рухнул в темную яму и полную глухоту. Словом, крепчайше уснул. А повалившись неожиданно для себя на бок, придавил левый повод и крепко его натянул, чем сильно смутил умное животное – кобылу Ласточку.

Лошадка, ведая дорогу, что собственное копыто, брела себе при отпущенных поводьях, имея на уме остановку только перед гатью, где хозяин пойдет впереди, ее взяв под уздцы и глядя по морде. Когда же повод повелел ей идти налево, в уме у лошадки случился конфуз от непонимания, но помня, как хозяин воспитывает при непослушании, она подчиненно свернула с колеи и вторглась в чашу, соображая, куда и как можно длить путь, но скоро уж и возможности не сыскала.

Наш охломон, накушавшись снов сладких, обильно похрапев и накрутившись во все стороны до ломоты телесной, проснулся в добром состоянии, подминая при том – обратите внимание – правый повод. Разумеется, он сходу сообразил, не увидев дороги, что Ласточка правильного воспитания, хозяина слушается даже пьяного, службу несет верно, велели – и свернула вправо. Молодца. Остановилась, соснуть хозяину позволила в спокойствии, безо всякой тряски. Ещё раз умница.

Здесь необходимо сказать о нежнейшем отношении Петра к Ласточке. Поколачивать слегка, видит бог, случалось, ну да как без этого в любовном-то деле. Но слова, слова он ей говорил такие, что жена его Станислава, украинская баба с польской кровью, сильно ревновала. «Если бы ты мне, – обижалась она, – если бы ты мне ну хоть разик сказал вот эти ласковы слова, я бы тебе, – клялась она, – я бы тебе заместо костыля готова была бы быть на всю твою судьбу». «Хорошая у меня жена, – не однажды хвастался Петр, – одноногого взяла, по любви считай, а не другой какой причине».

Смотрела виновато Ласточка на хозяина одним видимым тому глазом, хлопала часто ресницей и не возражала Кульгавому пребывать в душевном состоянии сердца сколь тому надобно, обиды на себя не вызывая. Еще полулежа определил Петр искать дорогу слева, считая задачку простой, но, когда встал, пошел по едва видимым следам тележных колес и, только обнаружив, что они исчезли в буйной растительности, – во весь рост успела подняться примятая травка, – последовал задумке и поковылял сквозь чащобу. Как уже понятно, не туда. Рыскал долго. Отчаялся. Вернулся к «транспорту», отдыхал и соображал. Солнце сваливало небом вон. Вдруг развернулась лошадь мордой к дому, подумал. Пошел, следуя новому соображению; солнце драпало себе. Удивительно: в тридцати, не больше, своих шагах обнаружил тропу; распряг Ласточку, – ей было и ни туды и ни сюды, – развернул телегу, опять запряг животное; солнце пошло под откос. Двинулись в путь, достигли переправы и с трудами преодолели; стало краснеть светилко, будто стыдно ему стало за свое поведение. Ругнулся Петрусь на солнце, но толку чуть: не по своей воле оно их покидало, никакой свободы нет даже в нём, отчего грусть. Мутным взором заглянули в зенки сумерки, страсть комарья налетело.

– Что, вовремя употребил горилки? – вопросительно посмотрела лошадка на хозяина, для значимости отражая два плачущих в ее глазах заката. – Хочешь, чтоб меня волк скушал?

– Не смотри, бы черт, – вслух ответил тот, – я ж ты за оплошку не ругал. Дойдем, красotka, верст не боле семи, не лякайся.

– Успокаиваю Ласточку ночи не пугаться, – объяснял потом Петр, – а самому в душу тошнота заплывает. А та смотрит на меня, в зенках огонь красный, чистый дьявол, и берет меня жуть, не к добру, думаю, ох не к добру.

– Дальше, дальше что и как было? – вопрошали слушатели.

– Ну, значит, вкруг сплошь темень. Кобыла в испуге, но свое дело знает туго, нюхом дорогу чует, идет самостоятельно, стегать без надобности. Занял круговую оборону. Обрезик под руку приладил и, главное, смастерил сигарку, подпалил, пыхаю во всю мочь, воняю окрест человеческим запахом, пугаю лесного врага. Имею намерение непрерывно содержать огонь. А где его непрерывно содержать в такой ситуации? Ясно, во рту. Почти весь извел табачок за дорогу, почти весь. А что делать? Как увижу тварей, думаю, сразу окурюк – в сено, огонек раздую, на землю скину и образую немедля костерок. Где наша не пропадала? Так и едем. Пока курю одну, кручу другую. Правду сказать, без затяжки дым пускаю, чтоб от этого дела не сдуреть. Один сплошной перевод махорки случился, но остались здоровеньки и живеньки, чего вам всем непременно желаю. А кто это у нас наливать забывает!? Кто это у нас потерял все внимание!?!... Добрались без ущерба, хоть бы кто где завыл, никак вымерли волки. Или кто распугал. Чудеса...

Так, направо да налево крутя головой, из главного леса и выбрались; дальше начинались поля и перелески. Вскоре двинулись по большаку – гравийной сухой дороге, что вела из уездного городка в Свары, соседскую, считай, деревню. В Свары, прикинул Петр, версты с две, но как бы в сторону удаления от конечного пункта, до какого по гравийке шесть с малым гаком. Оно бы и к соседям завернуть не худо, много там добрых людей, (сватов немало в Радостино приходило и девок на выданье уступлено), хоть и называется странно, в переводе на русский означает «много ругани». Однако исключительно славные там люди проживают, в чем состояла главнейшая опаска: трезвым у этих сварынцев возможности быть не существовало, очень не любили они, когда гость слабо выпивает, считали, верно, не уважает хозяина. В наличие на этом свете непьющих не верили, болезнь признавали причиной отказа, но лечили опять же настоями на травах. Какие то были травы, неизвестно, на чем настаивали, ясен черт. На том самом сварынском, лучшем в свете самогоне. Не-е, нам туда нельзя, решил Петрусь, и без того лошадка косо смотрит, как бы крепко не осерчала, дьявол ее забирай.

Город стыл тих и мрачен; в редком окне мерцало.

Найти ночлег не представляло труда: предоставить путнику кров было святым делом для простого жителя, сродни спасению утопающего. «Гость от бога». Все мы гости... Луна была слабовата, тучки на звездах паслись, опять же мешая видимости, собак слышать мало. Гавкнет, подбежав к забору, и наутек. Странные, отметил Петр, собаки стали.

Не желая стеснять бедных, высмотрел путник домишко посolidнее соседних, остановился, слез и поковылял отворять калитку. Навстречу выбежал пес и залаял, неся службу, нервно и взалех. Отворена была створочка окна, судя по тонкому скрипу петель, и мужской голос негромко спросил: «Будьте ласка, кто это пришел до нас?»

– Заночевать нужда принесла, – ответил Петр. – Очень простите за тревогу, из Радостин иду, зовут Петром. Кульгавым еще кличут.

– Одну маленькую минуточку, – послышалось в ответ, оконце закрылось, а вскоре отворилась дверь, осветив ступеньки порога: со свечой навстречу вышел, по ходу осадив лай, невысокий, но несуетливый мужичок при огромных светлых усах. – Приятно знакомству. Казимир я. Пожалуйте до нас, уважаемый, будьте как дома. Коня сам во двор поставлю. Класть ли коню сена, дорогой человек? Распрячь ли?

– Ой да спасибочки! Не надо лишних трудов. Моя дамочка привычная ночевать в разном положении. Прошу прощения за вопрос, но имя Ваше мне любопытное, у нас в деревне нет

таких; очень интересно, польской ли Вы нации или невероятным для меня гостеприимством жидовской?

– Православный я. И батька и мать белорусами были, меня только не спросили, какое имя хочу. Вот и получаю вопросы.

– Не обижайтесь только. Из уважения спрошено.

– Ничего страшного, мил человек... Места у нас в достатке, – продолжил хозяин, вводя под уздцы лошадь внутрь изгороди, – и экипаж разместится, и пассажир. Никак, дорожка Вам непростой выдалась. Сейчас дам коню свободы; вижу, мне это куда попроще, нет в том труда, кроме удовольствия. Нашего коника, на жаль, уж год как вспоминаем. Маленькую минуточку терпения и пойдем отдыхать.

В доме хозяйка уже чистила картошку, бросив в печь дровишек сухих и потоньше, дабы быстрее разыгрались; пока хозяин пил встречную с гостем и приглашал закусить квашеной пополам с антоновкой капустой, маринованными маслятами из подпола, а еще моченой брусничкой и всякими другими припасами. К третьему лафетничку жареная картошечка уже испаряла аромат над столом, а рядом в сковороде, с луком обжаренные и травами осыпанные, в сказочном озерце золотистого цвета плавали шкварки, как бы в полном удовольствии, что сейчас их будут сильно хвалить. Шкварки частенько ведут себя как румяные и доступные хохотушки.

Дело у мужиков не ржавело, скоро пошли песни, обнимашки и целования. Гость в доме – праздник в доме...

Постелили Петру толстенную перину в горнице, на полу у окошка; рядышком банку рассола поставили, дабы не искал в жажде похмельной, где не знает, спокойно почивать велели. В превосходном состоянии он и уснул, сначала будто в небытие провалился, потом сны стал видеть совсем к моменту ненужные, мать честная, про то, как он по лугам на двух своих бегаёт и японца воюет, потому винтовка в руках и вроде враг навстречу пуляет. Характерно пули гудят, живым образом. «Ты мне про баб вынь да положи», – приказал кому-то во сне переключить тему Петр, плохо ему стало с непривычной беготни. Пришлось для того проснуться, как уж не единожды на сущий миг бывало, для прогона вон непрошеного господина Кошмаровича. Дальше случался новый сон или пропадал конечно. Здесь нашему герою, еще с нетрезвой головной мутью пребываемому, прогнать его захотелось прочно прочь, желая прекратить издевательство над своим превосходным, как уже отмечалось, состоянием души, да странная вещь приключилась: видение пропало, а звук, – что за черт? – тихий, но не позабытый вой пуль, летающих в поисках краткой жизни, возникал да возникал. Петр протрезвел и стал думать. Или стал думать и потому протрезвел? В любом случае процесс принес плод. Или наоборот, что, впрочем, никому не важно. Мужик приподнялся и выглянул в окно; в редких местах проглядываемый сквозь сад горизонт мерцал частыми сполохами, будто там, где давно закатилось солнце, неведомая нечистая сила обратила его вон и предвестила свой, убивающий время рассвет. Но, только распахнув затем окно и вслушавшись, он задумчиво осознал продвижение сюда смертельной линии войны и с удивляющей самого покорностью воспринял происшествие будничным, потому совершенно безразлично; даже утешила мысль, что окончательно сброшен дурной сон. Тревоги, вызываемой обычно смутой неясности и разбродом дум, здесь – ясен случай – и не возникло. Чему быть – того не минуть.

Не желая потревожить ночь людям, Петр закрыл окно вместе с плохими звуками, дополз до стола, где в бутылки оставлено было на опохмел, употребил славно и вернулся утонуть в перине. Сквозь дрему он еще слышал некий со стороны шляха (тот надвое делил городок) отнюдь не природный шум, но подобный то шипению гадюк, то непрерывно раскатистому глухому стуку от мимо бредущего громадного табуна потерявших подковы коней. Но скоро окрест мир утих и обычным способом затем свет стер ночь.

Разбудили ранняя детская трескотня. Деток, как выяснилось, прежде себя не выказывавших, на полатах существовало трое и теперь они, сдвинув занавесь, развернулись разом в сторону Петра и с интересом на него глядя, вели живое обсуждение; а то как же: лежит на их полу дядька бородатый, а рядом – ай да любопытно – деревянная хреновина, по виду большая бутылка, и многие ремешки при ней прочные из сыромятной кожи. Вышел тут из спальни глава семейства, как прояснилось, дедушка «этой шкоды», устыдил шепотом, но, увидев, что гость проснулся, пожелал ему здравия и получил ответно. Полюбопытствовал сразу Петр о том, слышал ли «добрый дядька» большой в ночи шухер, далеко ли отстоит кайзер от родимых мест и «неужто сволочь решил нас взять»?

– А возьмет так возьмет, – махнул рукой хозяин. – Третьего дня верстах в двадцати стоял. Нехай себе и возьмет, лишь бы по хатам не стрелял, не вел войну супротив таких вот (показал рукой на детей) сопляков. А нам уже ни хуже, ни лучше не будет. У нас уже без того почти все отнято. Немецко-ж войско, слыхивал я, поменьше таки грабительства себе позволяет, чем родненькие наши охранители, архаровцы голодненькие наши. Коли не врут, то и нехай себе. Выживем! А куда ж нам на хрен деваться, мил мой человек? Если не будет грабежу, легко выживем!

– Случаем как бы нас уже не взяли, дядька добрый – произнес гость. – Ночью такое чувство было, что пули в саду гуляют.

– Не впервой гуляют. Сам знаю, – не сегодня, так завтра германца встретим. Так что – не спать? Аппетит от оскомины такой истратить? Любовь запретить? Деток кормить перестать? Бежать? Куда-а-а-а?

... Утро лежало в тишине. Сады истекали запахом созревших плодов, упавших и согревающих своим гниением землю. После завтрака всегда имея нужду закурить, не стал на сей раз крутить самокрутку Петр и дал волю себе надышаться. Так пахнут сады, возвращенные для детей и внуков, так пахнет тоска по родным местам, но понимать это способен лишь унесенный судьбой в далекую от родины даль, тот, кому этот запах пусть единожды воплотил сладкий яд ностальгии. «Наверно, никогда не забуду Китай потому, что там никогда не забывал этот запах», – думал Петрусь. – «Ежели существует магнит, прилепляющий душу, так только тот это край, в каком дал ее тебе Господь».

Неспешно двигаясь по проулку сквозь грустно-веселый запах под успокоительное щебетание созданий для неба, достигли Ласточка с Петром главной улицы и загрохотали. Громкий лязг железных обручей и цокот подков не заставил, однако, ни единого пса бежать к забору и лаять, что было бы нормальным; нежданно гулька громкость тележного хода вдруг насторожила Петра и дала понять, что улицы городка этим утром странно пусты, – ни человека, – лавки, прежде бодрящие звоночками входящих посетителей, молчат, прикрывши свои зазывные взгляды веками ставней. Вывески пропали. Где торговля Ёси Матусевича? Из какого места старый Изя Гриндберг «имеет к предложению теплые, белые, сладкие булки»? Тишь да гладь. Ой не к добру – пришло на ум – явно проснулись жители, да замкнули хаты и в окно бояться глянуть, будто на свежем, до синевы чистом воздухе прогуливается невидим страшный дед Кондратий и душит каждое живое сердце своей костлявой, мерзлой своей ручонкой.

Лошадка тоже пребывала в неважном самочувствии и шла неохотно, вяло реагируя на понукания. Почта размещалась в здании управы, после единственного на главной улице поворота и, уже достигнув его, закричал в сердцах Петр: «Не замерзай, дура этакая, чуток осталось!» – и осекся, посмотрев подалеже своего носа. Страшно удивительная имелась перспектива: что первое, не висел над крыльцом державный стяг; во вторых, стояла там необычная хреновина, по виду телега на дорогом резиновом ходу при полном отсутствии оглоблей. Автомобиль, – смекнул начитанный Петя. В другой час он рысью помчался бы изучить только по картинке известное чудо техники, но сейчас... Люди в незнакомой военной форме копоши-

лись, страх пришел от них, и сказал Петя Ласточке: «Тпр-ру, скотина слепая! Куда на немца прешь?!» «Ах ты мать моя честная, – пронзила последовавшая мысль, – Георгия снять не успею. И почто цеплял, задавака? А и хрен с ним. Где бог скажет, там и ляжем».

Остановились. Разворачиваться нельзя, пальнуть могут. Вперед, на рожон, дурных здесь нет. Вон, один уже винтарь с плеча дернул. Холодок ножом вскрыл грудь и встал близ сердца, съедая тепло его беспомощного трепыханья, а затем сноровисто распространился вниз, к паху и дальше, так что здоровая нога сама собой стала деревянной. Кровь как бы не удержала своего градуса.

С трудом он слез на землю родную, когда помахали ему ручкой, мол, родной ты наш дурак ты наш наиполнейший, слезай, свинья русская, ручонки чисты предьяви – и убедительно винтовкин мертвый глаз промеж его двух очень желающих жить издала вонзили. Убедительно так, ознобно. А как вспомнил Петруня о своей винтовочке, в телеге под сеном дремлющей, едва устоял вертикально.

– Ком цу мир, – бравым, показалось, веселым голосом прокричал бдительный немчик и, в правой держа оружие, левой рукой воздух к своему рту стал подгребать; подойти требует.

Ну так ежели «мир» говорят, отчего ж не подойти, не захромать по призыву да приободриться отчего-то и выпалить неожиданно для себя же все из немецкого языка, что в знании имеешь.

– Вас ис дас, – заорал он громко, выступив за край телеги, – вас, япона мать, ис дас.

Значения этих слов он не знал, но где-то слышал и что по-немецки теперь сказал, имел уверенность. И мы не лыком пошиты.

Ой как солдатики иноземные рассмеялись, ну меринами заржали, ладошками на землю замахали; стой, значит, не ходи. Сами, смех неся, двинули к Петру, к Ласточке погрузневшей, к винтовке под сеном, спаси и помилуй, к военному, пронеси господь, оружие. Подошли, трое, с какой-то радости захлопали по плечам инвалида, благодушные до ужаса, еще чуток, – и поцелуют. Дас ист унзере лайд, – говорят по-своему, – унзере лайд. Как позже узнал Петя, объясняли ему, что земля эта теперь в их владении, а он, как дурак, ничего не понимая, кроме сбегая от обыску, разулыбался, выясняется, вредному такому заявлению, засмеялся аж, если по секрету; быстренько взял да пошарил ручонкой под сеном и извлек ворогу – во до чего дожил! – предпоследнюю бутылочку первачка, на травах, редкого вкуса. Закусь не зажил, вытащил всю-всю, даже резерв на обратный путь – а и пропадай, шкура дороже будет. И так что вы себе думаете? По слухам на водку слабые, тут немчики из горла в легкую выдули почти литр, мало оставив Петру, и захрустели малосольными огурцами, одобрительно жестикулируя и просто дружелюбными глядя. По очереди трогали легонько георгиевский крест, и каждый счел обязанным палец большой вверх затарашить, восхищаясь. Приятели, да и только, сбоку если глянуть. Хорошо, не русские люди, – на одной бутылке угомонились, меру знают. А если б самовольно отправились под сено искать следующую? – страх подумать. И коня отняли б, и героя шлепнули б, ровно муху. Такая вот содержалась перспектива в этом эпизоде и без того волнительной Петру жизни.

– Почта! Почта! – закричал он, воротясь умом к цели приезда и ткнув пальцем в сторону управы, отвлекая оккупантов от возможной мысли на предмет дополнительно выпить.

Следом прокричали в ту же сторону молоденькие его собутыльники, мальчишки безусые, и стоявший на грузовике солдатик извлек невесть откуда русский державный флаг, замахал им торжественно и, гад, бросил святыню наземь, спрыгнул и пустился на распластанной ткани плясать иноземный – на взгляд Петра – танец. «Ай да говнюк», – никак не выдал оскорбления русский инвалид.

– Пост фиють, – объяснили собутыльники, изобразив лет птиц. – Дайке, кароши камрад. Водка кароши, камрад.

Еще бы не рады, подумал Петя. Водка с неба в рот упала, как тут не порадоваться; не солдатска, чай, каша-малаша. Миленькие, однако, сволочи. Не грохнули для забавы.

А когда все трое взяли да помогли забраться инвалиду в телегу, вручили ему поводья и погладили бережно Ласточку, как обычно пугливые дети, даже жалость прищемила Петрово сердце: люди ведь они, таки ведь белые люди, тоже им война не мать родна; с ними будь по-хорошему, и они не станут сеять пустую злобу. Но, отъехав немного, в предчувствии неутешной встречи с земляками, подумал и постановил, что все-таки волки они поганые и сукины дети: почту закрыли, какой никакой, а работы, нужной работы лишили. А женщинам бедненьким без весточек каково в тоске? Убийство одно...

Возвращались. Петрусь весь путь в голове, что в котелке каком, варил кислые думы, выходила одна безотрадность. Лошадка бодро ступала по августовскому, отошедшему от ночной прохлады дню, несла в себе радость скорого и полного успокоения.

Осень тысяча девятьсот пятнадцатого года уже наливала листья осин кровью.

7

Обреченным и неспешным, ровно жертвы по пищеводу удава, был скорбный путь эшелона.

Отдохновения люди искали в беседах, словно вырастали у разговоров руки, ворующие скудно сплющенный из мешка проходящих мимо жизни унылых и жадных веселья суток песок золотой минут.

Православный Степан Соловейка и бывший католический священник Богуслав вдруг обнаружили себя в общем для них приходе, и было у них равное здесь право говорить и мыслить свободно, во всю ширь разума.

Третьим утром от начала пути подсел Степан к Богуславу, имея вопрос.

– Ты, наверное, вполне и хороший человек, – обратился он к поляку, когда тот, пустив росу в глаза, кончил крестить грудь, – но правильно ли я узнал тебя под обросшей твоей мордой? Не ты ли заезжал как-то в Радостино, в церковь нашу беседовать с батюшкой? Не после твоего ли посещения у нашего священника лицо посерело, как от печали. Так вот не сволочь ли ты? Извини за любопытство.

– Помню, уважаемый пан, – ответил ксендз, – скрывать не собираюсь. Был в интересном вашем местечке, очень интересном. Я тогда и представить себе не мог, что в смиренную вашу глушь какая-то сволочь, когда-нибудь, пся крэв, вломится со своей классовой борьбой.

– Вломились, вломились. А ты сам тогда не вломился? Это теперь я тобой – сам сказал – уважаемый, когда в одном дерьме заседаем, а тогда ты, видать, по дороге сгубил уважение к нам. Ввалиться в храм божий во время службы, троих уланов с винтовками ввести, оборвать слово. Почему такое оскорбление?

Разговор шел на польском. Для всех присутствующих был он понятен, а польский священник, скажи ему кто раньше о нужде знать по-русски, оскорблен этим, быть может, был бы безмерно. Получив пять лет школы на языке Речи Посполитой, Иван, Степанов сын, беседу понимал без напряжения.

– Не моя, пан Степан, на то воля имелась, – с досадой в голосе сказал поляк. – Работа. Приказание. Долг, в конце концов. Не своеволие. Политика. В Польше где политика, там религия. Служение господу когда оборачивалось службе государству. Однако же и слово божье иногда ложилось поперек политической линии, мы могли говорить о всех несправедливостях властей, что не прибавляло аппетита уже гражданской власти. И на всякие уступки нам власть требовала уступок для себя.

– Умом да языком всякое дело, любую пакость не трудно обелить. Я, к примеру, твердо знаю, что чем умнее человек, тем для большего числа народу способен он подлость изобрести. Да еще сам рук марать не будет, вперед погонит целую рать бесчестных и слабых перед соблазном облегчить себе жизнь. Умно ты мне объясняешь, а дело в чем? Что за службу ты произвел, батюшку нашего вогнавши в хворобу, важную – я видел – при этом морду себе соблюдая? Как бы ты судил меня, если бы я так вломился в твой костёл?

– Справедлив твой гнев, пан Степан, понятна обида, – согласился ксенз. – Но иногда обстоятельства более властны над нами, чем наши желания. Не одну, видит всевышний, далеко не одну вашу церковь я посетил...

– За бесплатно? Во имя одной токмо веры? – миссионер, мать твою, непрошенный. Мы тебя звали? Мы вообще когда-нибудь что-нибудь у кого-нибудь просили, кроме оставить нас в покое?

– Пан Степан, позволь мне быть с тобой совершенно честным; не время и не место лукавить, понимаешь. И хотя обещано мне было управлять новым костелом в Лодзи, не именно это определило желание, с которым пришлось мне исполнить столь неприятную вашим приходам

и, само собой, их священникам, миссию. Да, я доводил им приказ о ведении служб на польском языке, как никак прихожане церковей – подданные польского государства. В оправдание могу еще заметить, что заменить меня при несогласии было кем, я это понимал, как и то, что попаду в немилость. Помнил о семье. Никто не пожелает своим детям скудного быта и голодных глаз. Но любые бы соблазны отверг я, не чувствуя своей правоты...

– О мать божья! В чем же правота? – не сдержавшись, перебил Степан. – Мало вам было? Ладно ребеночка, что от мамы русский язык принял и до семи лет только на нем говорил – в польскую школу отдай, ладно иди в ваше войско и забудь родной язык – так войско польским и зовется, терпимо; ладно всякие там бумаги государственные, справки-пиявки, тут вообще понятная штука, ладно книг на русском хрен съешь. Плохо, но не страшно. Так вот ведь что выдумали: родись от родителей и господ русским, а на тот свет отходи при молитве на польском, при молитве на том языке, каким создатель при рождении тебя вовсе и не надеялся. Не грех ли? Никакое доброе сердце здесь не сдюжит. И, если я правильно знаю, в пребывание ваше под царевой властью мы вашим священникам никаких указов о переводе службы на русский не сочиняли, не трогали святого. То была большая ошибка от вас и ненужное для нас огорчение.

– То была еще и политика, пан Соловейка.

– Для убиения души, пан Богуслав!

– Всякому взгляду – свое сказание. Я бы на твоём месте, вполне возможно, думал бы не иначе. Но о какой политике можно было знать тебе вдали от нее, одни леса и болота наблюдая, только слухи о творящемся в мире имея? Вижу перед собой доброго и умного человека, таким охотнее и быстрее достаются горести мира. Вместе с твоими мои слезы, с горем тебе и мне горе. Поверь и радости моего сердца, если наблюдал я улучшения в жизни людской, что касалось и всех белорусов, а значит, и тебя. Ты можешь сказать, что это только мое мнение, а у политиков наших на уме было одно насилие. Смотрю с твоей стороны: да, понуждение говорить на чужом языке есть путь ассимиляции, унижение достоинства нации, небрежение ее желаниями инородной властью. Здесь сам по себе любопытен протест твоего народа, давно и вполне добровольно связанного с Россией до той степени родства, что и говорите вы по-русски, и называете себя русскими.

– Большая разница, по доброй воле делает это человек или когда его заставляют, – заметил Степан. – Насильно мил не будешь. Есть такая поговорка.

– И здесь я тебя понимаю. Но, думаю, тебе будет интересно взглянуть на все это глазами тех самых политиков, а мысли их мне в достаточной степени были известны, верь, ибо меня им пришлось много убеждать в целесообразности вторжения со своим уставом в церковную жизнь Малой и Белой Польши. Обрати внимание, что именно Польши, то есть власть считала вас своими. Без лукавства Варшава желала видеть белорусов и украинцев частью общей и дружной семьи, желала всем сердцем свои новые земли иметь лояльными к ней. Но главный фокус состоял в том, каким образом нам, получающим верную информацию, в какую бездну безбожия погрузилась Россия, понимающим коммунизм сокрытым в нарядных одеждах мёртвым идолом, убережь многострадальный народ от тех, кто обещает свет, но творит тьму. Ибо нет горше плодов разочарования, красивых таких яблочек, румяных, внутри которых яд, впрыснутый лжецом. Кушай, человек, наслаждайся красотой!

– Ты хочешь сказать, что ваши политики света нам не обещали, но и травить не собирались? – спросил Степан.

– Не собирались! Податков вы не платили никаких! Несмотря на порой бытовавшую среди людей надменность, – я знаю, знаю, иные называли вас не иначе, как «быдло з-за Буга», – власть понимала, что обманом не подружить народы. Наоборот, возникла потребность бороться с насаждаемой Советами через агентуру сатанински циничной пропагандой своего мира якобы свободы, равенства и братства. Теперь ты видишь, какую они принесли свободу,

а тогда, тогда все, что мы писали в своих газетах об истинных их целях, с пользой использовалось вами разве в сортире.

– Твоя правда здесь. Не было веры ни власти вашей, ни газеткам, хотя они и редко к нам доходили. Все больше слухами питались и, знаешь, по ним выходило, что на востоке сказка дается, а мы под гнетом квасимся. Но по части колхозов в нашей, например, деревне было большое недоумение, какую такую они свободу предоставляют, с полным переживанием, что это вроде нового крепостного права, в коем и прадеды-то наши отродясь не живали. Правда, в других селах сомневались, вдруг нет в том большого зла, но по большей части люди ленивые или кто в долгах, как в шелках. Хорошо, говорили, трактором землю пахать.

– А о тех жалели? кто за этот трактор скотины своей лишится, свою единственную корову в общее стадо ввергнет, с родимым домом разлучит несчастную и станет ждать, когда она там подохнет от недоедания, потому как командовать хозяйством станет какой-нибудь вечно пьяный бывший слесарь с револьвером. А чтобы тому самому трактору было где развернуться, землю у тебя оттяпают по самое крылечко. О молочке от своей коровки детки твои будут обязаны забыть, жалеть по ней означает враждебный новому счастью частнособственнический инстинкт, и коли заплачешь ты – по тебе заплачет тюрьма. Ночью можешь скрежетать зубами, днем обязан быть голодным, но выглядеть счастливым. Такая перспектива.

– Да это почти конец света, – согласился Степан. – Страх один и подумать, что люди с людьми могут творить. Вправду, выходит, нет зверя страшней, нежели человек.

– Иногда лучше понять позже, чем никогда. Увидеть яму прежде, чем упасть в нее. Пусть у края, но открыть глаза. В твоем случае, пан белорус, это случилось, когда ты уже летишь вниз и не знаешь даже, сколь далеко тебе до дна и не станешь ли мокрой лепешкой там. Ладно бы один. Так ведь семью прихватил. Подтирал, говоришь, нашими газетками задницу? Мы тебе там о терроре болыневичков, об арестах и расстрелах, даже детей, ангелов божьих, а ты? Мы о взорванных церквях, о тюрьмах в прежде монастырях, казнях священников, а ты? Мы о насилии над крестьянами, коллективизации, высылках сотен тысяч семей в Сибирь на погибель, об организации голодоморов для насаждения колхозов среди пустынь рукотворных, а ты? Все с дерьмом смешал? Брешут поляки, что последние твари! Врут, пся крэв! Так было, пан Степан?

– Ох, пане Богуслав. Нет ума – считай калека.

– Значит, не напрасно мы думали, что свела вас с ума сладкая ложь, пытались образумить, как детей малых. От нелюбви ли? – сам подумай. От нелюбви ли родитель охраняет дитя свое от заблуждений, иногда наказуя больно. Угнетает при том отец своего сына, или должен сын уважение к отцу хранить и любить его? Что о сем в заветах пророков, брат мой, не забыл ли?

– Эвон ты как повернул. Даже сообразить трудно. Вы нас, значит, как бы под оккупацией содержите, а мы вас за это почитай, ровно родителей? Что-то в уме не помещается, – искренне удивился Степан. – Даже сейчас, когда мне добавляется к разуму.

– Руки отбили от дела, – голова стала иметь час думать. Так бывает, особенно с людьми, уткнувшимися в соху. Так бывает. Так устроена жизнь.

8

Люди и ветра.

Воротившись в деревню после поездки за вестями и нечаянной встречи с весело пьющими солдатами кайзера, остановился Петя Кульгавый по обыкновению у церковных ворот, на сей раз с кислыми щами на морде, и недолго ждал, когда соберутся односельчане вокруг телеги и зашумят, аки голодные пчелы. Женщинам от нетерпения жег щеки огонь сердечный, мужики по прибытию не теснились, а первым знаком задумчиво закуривали.

– Прошу милости за нежданную задержку, люди добрые, – заговорил Петр, встав на телеге, что на постаменте, ибо держать речь сидя не позволяло воспитание. – Не имею, братцы и любезные бабы, никаких для вас добрых весточек, окромя той, что для вас до сих пор я живой. Сегодня, как не успевшего снять Георгия, могли меня запросто заарестовать, на худой конец чисто застрелить сволочи германцы, что кирзовыми сапогами топчут уже прямо по нашим душам, и хрен теперь кто похоронку получит; почта и лавки замкнуты железно. Так что звиняйте, я не виноват.

Заохали тут бабы, а мужики чрезмерно глубоко втянули в себя махорочный дым, и случился он вдруг странно горьким, вызвавшим хриплый кашель.

Вослед за дымками, скоро исчезающими в солнечной чистоте воздуха, вознеслись, будоража покой накормленных спящих собак, впечатления.

– Елки-палки, как теперича быть то будем?

– Оккупация – серьезная вещь.

– Да кому до глуши нашей охота? Немец не дурак. Он сначала убыток от дороги посчитает, потом прибыль от нас: хрен да малина.

– Одно и счастье, что в глухомани.

– А соли где добудем?

– Ой, бабоньки! Мужика забьют и знать-ведать не дадут, супостаты!

– За худой конец Петьку чуть не вбили!

– От судьбы – никуды-ы-ы... Назначено терпеть – терпи, коли не вмоготу – точи топор.

Но помни, что топором не картошку копают, скорей гроб строгают...

– Велика невидаль – немцы. Мало ли какое войско Полесьем шастало. Где они все теперь, войска эти? Не самый большой страх. Как бы мирные не пришли и не велели б нам человечинку жрать, при том проясняя, что манна небесная это и кто не хочет ее жрать, выходит злейший враг и пойдет на пропитание сам.

– Свят, свят, свят...

– Не пужай, Архип! Не добавляй бабам седых волос, сукин ты паникер! Выживем за нехрен делать! Скотину ежели не отымут, легко перезимуем. А то и гать вольно порушим, не увели чтоб; деревьями тропу завалим, нехай болотом сподобятся, коль большая охота. Ерунда, Архип, не бойсь никого, всевышнего окромя, и да будет тебе вечная благодать.

– Во надумал! Сами как выбираться сможем без гати? – сказал Архип. – Дурное дело не хитрое.

– Никак сражения нельзя пугаться. На войне убитый прямиком в рай определяется, что совсем неплохо при такой грешной жизни, очень кой-кому неплохо, – встрял тонким голосом самый старый, лысый при мохнатых и могучих седых бровях дед Макар, повывавший за свою героическую жизнь «мертвяков куды как больше, чем живых людёв». – Пойдет кто супротив

жизни семейства твоего али Отечества, гаду окорот делай, по шапке его, по шапке! Мы на Шипке с этим делом вовсе не робели.

– Ну, дед у нас главнейший герой. Палку от винтаря отличишь при отличном твоём зрении, герой? Киваешь!? Будешь главнокомандующим! Счас водки выжрем и запишемся в твою армию, погоди чуток, не ложись на травку. Ну не ложись на травку! Ну... да разве тебя уговорить?

– Ой бабоньки. О какой обороне они трещат? Только ежель нас под ружье. Из мужиков-то старьё да пацаны. Один боец и остался, да и тот с деревом заместо ноги.

– И худым концом.

– Ха- ха-ха, ха-ха-ха!

Услышал такую шуточку Петруха, быстренько смекнул о возможном повороте трёпа в сторону его личности – неровен час, косточки мыть станут – и решил на корню пресечь поползновения. Грохнул он деревяшкой своей о под телеги и заорал со всем возможным по его характеру негодованием:

– Молчать! Мать вашу в землю, заткнись враз! Кому говорю? Развели, понимаешь, трепотно, замесили геройство с паникерством. От натуг не обделайтесь! Кто вам сказал, что немец вас воевать пойдёт. Совсем даже нормальные солдатики, никакой злобы в глазах, самогон любят не меньше нашего. Очень мы им нужны, как же. Ну только если Маринку в полон возьмут по причине мужицкой симпатии, вдруг не против девка?

– А то! – отвечала Марина. – Мой миленок меня бросит, да не стану я тужить, немчик вдруг заглянет в гости, позовет меня дружить. Ох ты, ах ты, доля не отрада, встречу в поле мужика, будет мне награда!

И пошла плясать, и понеслась...

– Коль миленок, скажу кстати, меня не освободит, фриц меня в полон захватит и детишков наплодит, ух... ах... ох... эх.

– Цыц, окаянная! Дед Макар задремавши. Распелась-расплясалась, что дурная, – не сдержалась одна из старух.

Но завелась уже молодка; до ненависти надоело ей носить в душе вечную тревогу за фронтовика-мужа, а черной печали платок – на голове. Рванула она его и швырнула в сторону, и открыла солнцу золотое марево рассыпавшихся по плечам волос. Подняв взгляд поверх людей, в милое голубое небо устремив голубые свои оченьки, развела она руки в стороны и пошла-пошла кругами вокруг прикорнувшего на травке деда Макара, постукивая деревяшками ходунков и распевая невесть откуда берущиеся слова.

Вынужденно замолчал народ, наблюдая отчаянное женское веселье. Мужики опять полезли за кисетами и как бы помрачнели дополнительно, сочувствуя Марине: страх прогоняет, молодец дивчина. Грозно при том поглядывали на баб, пытающихся оговорить плясунью, – те и смолкли...

Наплясалась девица вдоволь, напелась-насмеялась вволю, да и обрушила вдруг вниз руки, будто жизнь потерявшие, подняла свой черный платок с травы, скомкала и прижала к глазам, вытирая слезы сотрясших худенькое ее тельце рыданий. И пошла-пошла прочь от онемевших баб и понятливо кивающих головами мужиков, наполняющих очи еще большим морком, и ушла из виду...

Онемение прервал Петр:

– Бросай тужить, братва! Бог не выдаст – свинья не съест. Всякий молись о хорошем, но ружьишко почисть, смажь, спрячь хорошенько. Может быть и шухер. Немец не знает ведь, что у нас тут проживает герой всех войн дед Макар, иначе уже драпал бы обратно до городу Берлину. И кто, ядрена вошь, проявит к почтальону уважение, кто, мать вашу, плеснет ему наконец свежих сто грамм?

– На конец? Уж на конец непременно, как не уважить, – съязвил чей-то женский голосок.

Здесь народ вовсе рассмеялся, всем как бы полегчало, волна разговора пошла на убыль и вот уже шелестом шепота заплескалась, выбрасываясь на камни тишины, сравниваясь с шумом бесед листьев берез с летающими мимо птичками.

И вот восторжествовало на людских лицах выражение смиренной раздумчивости. Потихоньку стали расходиться.

Один же, не боле шести лет тому пришлый мужчина в годах, бирюком с черного цвета овчаркой дружно живущий на краю, у леса, двору кого сосны служили столбами забора, непрерывно бормотал себе под нос, и рядом стояло быть, чтобы услышать:

– В книжках дано – никто не верит – не глядит в глаза свои – быть приходу сатаны – из красного моря – кровопивец в крови – всяк окрыленный обескрылит – всяк праведник оболган – человек станет жрать человечину – ночь названа днем. И проклятой станет Русь на тринадцать колен.

Никто не знал, откуда пришел человеке сей. Шептали, что тронут умом. Кто? Кто прикоснулся его ума!?

Медленно расходился народ и никто, чудны дела твои, Господи, так и не поднес Петру чарочку, будто не просил он.

«Печаль не способствует щедрости» – умозаключил Петя и повелел Ласточке немедля отправиться к дому гробов и иной мебели мастера Силантия, дабы не дать протухнуть свежей, весь путь созревавшей мысли.

Подъехав к местожительству золоторукого ремесленника, почти восьмидесяти годков озорника при пятидесятилетней второй жене, извлек он винтовочный обрез из-под сена и поковылял к отворенной калитке. Дед Силантий уже нес ему навстречу свою беззубую улыбку.

Петрухина задумочка мебельщику понравилась. Но озадачила сильно.

– Эвон чё... Ступочку тебе новую? А в нутро ружьишко неприметным образом прикнуть, дабы и пульнуть мог оттель и скоренько извлечь для перезаряду? Ай да ты хитрец! Ай да шалун прохиндеевич! Храни тя вседержатель и умных прочих.

– И не много тяжелыне угадай, друг мой любезный, – дополнил заказчик. – Не забудь, – мне эту штуковину таскать надо. Удружи.

– Нехреновенько удумал, голубь мой. Зачем? – позволь любопытство. От кого таить ружьишко? Волк и через деревяшку унюхает. Легко.

– Не был на сходе, не знаешь, лень тебе в рот. Германец в уезде стяг с управы сдернул и вольно топчет сапогами. Оккупация, брат. Всякий шухер может быть.

Глазки-щелочки деда Силантия возмущенно увеличились, как у молодого разбойника стали. Морщин под ними сразу убавилось, – все на лоб заспешили наперегонки, помочь мозгам новость переварить.

– Ну и жизнь, – вымолвил он сипло. – И когда она оставит нам покой.

– В гробу!

– Сомнительно, что и там, при таком мировом помешательстве.

– Бог не выдаст...

– Твоими б устами...

– Живы будем, – не помрем.

– А и не жалко при таком повороте... За сыночка только нервы... Не сожрали бы вши, не убили бы люди, – совсем помрачнел озорной старик. – Ох да извини меня, Петя, нечаянно все вышло. Иди, ставь брагу, корми кабанчика на закусон и сильно не переживай.

9

Слабоват глазами был дед Силантий; ладони, как ни относил подальше, в тумане наблюдал, и уж когда мастерил какую закавыку, решающее доверие оказывал пальцам, – уж те знали и размер, и всякую неровность, исправно руководя трудом. А про стекла на носу для пущей зрячести что сказать? – мешали рукам творить, разлад вносили, досаждали чувству.

В умелости своей не сомневался старый мастер, но сладить для инвалида деревянную ногу с «двойным дном» оказалось вдруг так сложно, как того Силантий вообразить не мог.

– Ох, сдуру дал добро Петьке, ох и сдуру, – сокрушался старик спустя какое-то время. – Ведь оплошаю если, табуретку народ не доверит исполнить, не то что красоту какую; недоверие проявит, вдруг и вовсе ненужным стану, а значит, гроб придется строгать и скоренько помирать. А то куда еще бечь от ненадобности своей?

Уже два молодых дуба пали под острой секирой, ведомой духом честолюбия и творчества. С ума сводила, занозой в непотребном месте восседала Петькина задачка, простой казавшаяся по первости, много заготовок унесла в печь. Окаянная бессонница донимала; ночью, собака, велела думать. Башку деду пучили одна другой хитрее воображаемые конструкции незаметной, на погляд как бы обычной ступы, а узорчик рельефный поверни и бац: половина протезика отвалилась и, к недоумению пучеглазого врага, обнажила тайное свое сердце, хранящее смертельный ответ: а не забижай калеку...

– Помру, но сделаю, – сказал Петру плотник через три месяца. – А не сделаю, так тем более смело помру! Не сумлевайся!

Дума о работе, подобно змеюке анаконде, – другие, как слышал дед от умных школьников, живых людей не кушают, одно лишь кусают – поглотила Силантия и издевательски медленно высасывала из него время жизни.

Копает дед бульбу – размышляет. Грибы в печь сушить кладет – в мозгах круговерть жаркая. Снедать садится – огурец поднесет к губам, глядь, – тот по форме на заготовку дубовую похож, коих уже было... стыдно сказать.

Напасть: ни о чем другом думать не удавалось, сидела внутри нечистая сила и вертала мысль на круги своя.

Ходил до батюшки. Помоги, говорил, ремеслу, заострить умок поспособствуй, что-то притупел в длительности пользования. Соглашался батюшка добрый, но изречь, что на все воля Его и в небо перстом ткнуть, не преминул. И на том здравствуйте, и на этом с приветом...

Хорошо, пришли праздники. На Покров, уговорив при добрых беседах литрок первачка, почувствовал Силантий Матвеич в ногах груз, но в мыслительном отношении долгожданную легкость и с ней открыл верный путь к свободе рассуждения, а то, неровен час, с ума можно сплыть. Останется на колокольне за веревочку дергать и смеяться. Бум. Бум. Ха-ха. Ха-ха, бум-бум.

Зима состоялась рано. Пошли посиделки, то здесь, то там обо всем на свете разговоры вечерние, под лучину; к примеру, а не хуже ли сегодня самогон у Ивана, нежели вчера у Федьки, достаточно ли хорошо чист. Болына-а-я тема. А припомни кто, что у Федьки таки были третьего дня, а вчера у бабы Анюты толк вели, – спор начинается душевный и такой живой, что затыкай деткам уши. Радостно, словом.

Война, говорите, кругом? Батюшки-матушки, о чем Вы такое себе говорите? Да еще за едой позволяете! Не кругом война, а за кругом защитным, из снега по пояс. За тридцать земель мы теперь от немца, и думать о нем до весны – значит, мешать аппетиту. А пока детишки сыты, обуты да одеты, закону, грамоте и счету обучаются, географии и рисованию с пением; жизнь можно. Одна незадача – соль, мать её в печень!

Проблемы с самым важным для села продуктом начались с войной. Поначалу весть о том, что в уезде соли пшик, многих взволновала недостаточно из-за наличия запасов на черный день и от убежденности в скорой победе над Германией, раскоряченной на два фронта. Но к экономии продукта приступить не замедлили.

Казалось, все для поддержания жизни производила деревня. О еде и речи нет. Что летом потопаешь, то зимой полопаешь. Потому топали старательно. А уж одежду ладили, коротая зиму. На станках Силантия Матвеевича льняные полотнища ткались и из грубой нити – для штанов, и тонко – для рубах, к примеру, али исподнего. Овца помогала храниться от холода шерстью своей и шкурой, за что получала благодарное почитание. Мыло заменяли золой, при утрате в печи огня брали взаймы у соседа, в образе дышащих угольков. Будь Полесье в Африке какой-нибудь без познания зимы, невелика была бы потребность в соли – много ли ее надо в супчик из утром веселой курочки? Картошку ли, яичницу солить так и вовсе непотребное баловство.

Иное дело – подготовка к отрезанному от божьего мира пребыванию в зиме, с декабря по апрель. Вся летняя работа так или иначе нацеливалась на выживание маленького сгустка тепла внутри мерзлого и безжизненного пространства, в небо над которым стремили глаза и грустные звуки своих песен предсмертно голодные звери.

Бочками квасили, солили, мариновали, мочили... А сало, мясо, рыбу как уберечь без соли? Без соли – верный гроб!

Сколь ни вили веревочку, как резину ни тянули, к 1917 году даже самым терпеливым и рачительным приказала самая главная приправа не поминать лихом. Сначала надеялись, что, как бывало, по весне ясным солнышком залетит на село веселый купчина-спекулянт и станет за стакан вожделенного продукта, маняще сияя гранями его окрест, милостиво соглашаться принять курочку-кудахточку. Говорливого гуся примет и за два сияния, пускай даже с таким огорчительным видом, будто золото своей души рассыпает. Такое, значит, жертвенное выражение на лицо свое оденет при том, словно утешит человека только признательный поклон до земли его сочувственному сердцу, пославшему хозяина за тридевять земель творить добро. Старых, особенно одиноких, таки не забудет уважить снисходительной щедростью, – добавочкой, наверняка имея в виду, что при отсутствии оной возможно заполучить неудовольствие – спаси и помилуй – прямиком в морду.

Помня довоенную цену соли, исподволь селяне обзывали спекулянта грубыми словами, но, понимая свою зависимость, провожали его обоз с провизией улыбками и просьбами не забывать.

С оккупацией же уезда кайзером вослед за солью таяла надежда. Забыть, что ясно, купчина их не забыл, – с крючка такой выгоды не у всякого достанет сил сорваться, а уж «наш-то был довольно жаден» – да вот обстоятельства, обстоятельства...

Аккурат на Крещение, после купания в проруби под крестное благословение батюшки, нырнувшего первым, отогреваясь в «общей хате», затеял народ размышления.

Стали уповать на Петруху. Договорились отправить его после распутицы со всяческой живностью в уезд на чистое везение, потому как ждет всех труба.

На такое решение объявил Петр, что хрен теперь куда без «орудия» он попрется, а коль опора на Силантия уже не поддерживает его разум и глазам тяжело видеть такое беспомощное мастерство, то уж не обессудьте и засуньте ваше решение сами знаете куда, потому как выразится прямо при детях неудобно.

Плотник на это с полной вероятностью осерчал, возмущенно выразился: «ах ты засранец» и другими словами высокой температуры, а потом объявил, что протез готов, только лоску добавить и осталось. По причине же вдруг проявленного паскудства и поганого норова Петруха получит заказ немедля, и за солью пойдет как миленький, а ежели опосля несправедливых слов не доставит в село продукт, «я ему по чистой доброте задарма соображу лучший в жизни гроб,

и крест на могилку дубовый, и ямку глубокую в чистом песочке собственноручно; ничего не пожалею хорошему человеку для его радости».

– А пока, байстрюк ты этакий, немедля ставь печальному народу ведро первака! – закончил свой гнев Силантий и, неожиданно открыв рот в беззубой улыбке, шагнул за дверь и пошёл за шедевром, неся в себе предчувствие ошеломительной его демонстрации, дабы наконец-то заполучить продляющую желание жить искреннюю хвалу его таланту. Все мы всегда дети.

Не чувствуя стужи, дед Силантий нес «хитрую хреновину», завернутую в чистую нательную рубаху, голыми руками нежно прижимая к сердцу. Ветром ворвавшись в свою избу, скинул он рукавицы, а после, в суете волнительной пребывая, вовсе забыл о них. И на морозе не вспомнил, ибо хлынула на него совсем другая память, да так беспощадно, что враз смыла полусотню прожитых лет, и оказалось, что несет он завернутого в овчину сжигаемого простудой жалобно дышащего сына своего. Первого. Данилку. Степаниде, знахарке, показать...

– Доник мой, сынку мой ласковый, ты зачем помирать придумал? Шуточное ль это дело? Разве для того мы тебя с мамкой родили, деточка моя? – запричитал дед Силантий, а слезы залили глаза и желали замерзнуть. – Погодь, пого-одь, поможет нам бабушка Стеша, снимет с нас хворобочку, как же не снять. Спешит твой папка, ой как он спешит...

Бормотал успокоительные слова старик и не шел, а, казалось ему, летел, не чуя ног, снежного хруста не слыша, пути не наблюдая за мутью слезной пелены, и очутился незнамо как у дома знахарки, лбом в дверь вонзился, потом и глазами. Тут в настоящее время вернулся и в себя, значит, пришёл. Вспомнил, что не жива уж давно Степанида Филипповна, что никто в её избе не поживает и оттого скоро избе придёт хана. Вспомнил, что не донес тогда живым сына своего первого, а теперь вот принес Петькин костылёк, да жуткой боли холод в руках познал, и сверток на порог уронил ласково, и ручонки отогревать стал, натирая снегом. А почему при этом плакал, что дитя малое, продолжал не понимать. Когда же утих, утерся от слез, на яркий и солнечный день посмотрел, смиренно удивился глубине борозды, пропаханной им, конём неожиданным, по снежной целине, зачем-то дал очам небо, вздохнул с хрипом в груди и так подумал: «Оказывается, сильно простым манером с умишка-то человек соскакивает. Глазом моргнуть не успеешь, спаси и сохрани. Как есть, мы пыль».

Дождаясь Силантия, всяк мужик соблюдал тяжкое терпение, порой помогая душе поглядом на питье с поднесением к устам и нюханием корочки хлеба, после чего та уважительно клалась обрат. Петруха выставил щедро, готовка источала парок и пряность, стаканцы заманчиво мерцали, а наливать стоял запрет: вдруг пошутил старый мастер. Вот придет, тогда и определение выйдет, радость ли будем праздновать или огорчение заливать. И смешно было бабам со стороны наблюдать, как среди всякого разговора, кругом стола сидя, брали мужики поочередно кусочек хлеба, нюхали и клали его взад, в словах не прерываясь, степенную небрежность соблюдая и как бы о выпивке не помышляя. Смешно было обнаружить в разных возрастом и судьбой человеках этакую вот одинаковость, и, лузгая тыквенные семечки в своем, подле печи, закутке, хихикали бабоньки всякому поклону за хлебом скорее сочувственно, чем злорадно, жалея своих терпеливо страдающих выпивох. Да и как судить иначе, коли сама жизнь так или иначе неизбежно скатывалась в терпеливое страдание, и сострадание стало столь искренне необходимым и дающему, и берущему, ибо являлось оно подчас единственным знаком надежды.

За делом и дождались. Едва отворилась дверь, Петька дал команду «наливай», и все ожили, зашуршали пчелками в улье, заулыбались, а того, что дед Силантий явился не по себе грустен, сразу не приметили.

– Замучились мы тут с тобой, пропащим. Где тебя чёрт водил, японский городской?! – укоризненно встретил Петруха вошедшего, но, в глаза тому заглянув, просто ужаснулся своей невозможной сейчас грубости. – Что случилось, кореш мой сердешный? Корова сдохла?

– Ох, Петенька. Какая такая корова? Понесло меня, слышь. Да не живот закрутило, не гляди так. Куда как хуже. Страшное диво с человеком произойти случается. Не токмо под спасителем бродим, брат ты мой, как ни печаль придумать. И есть мы пыль...

– Да не томи сказками, – не выдержал Петр.

– Розум я негаданно утерял, Петрусь. И понесло меня, и пошел полями, стужи не чую, будто дело летом. В руках не деревяха, а чистым образом дитя мое при смерти. Не нашелся бы ум, точно бы застудил я душу, точно откинул бы валенки в трех шагах ходу от горилки. Жуть!

– Погоди так думать, человеке, – вошел в разговор батюшка и перекрестил плотника. – А ежели не ты сына, покойного уже, спасти понес, а он тебя через память призвал? К себе. Помереть, по мирскому говоря. И тогда объясню я тебе, что это хорошо! В раю ныне первенец твой, ибо мал и безгрешен преставился. К себе зовет? Очень хорошо. Потому имею за тебя радость. И ты возрадуйся, отрок. Светлый знак.

– И че ж я не помер для такого счастья? – все еще стоя с изделием в руках, растерянно удивился старик, но без грусти.

– Господь знает.

– А потому что не все дела сделал! – помог батюшке Петр. – Обещание кто бы за тебя исполнил? А так молодец. Кажи талант!

Здесь дед Силантий и вручил инвалиду свою ношу, а когда присел за стол, в привычный круг земляков, окончательно всего нашел себя.

Немного времени спустя слушал он восхищенные охи, деловито объяснял работу устройства и наблюдал, как Петруха приладил его к обрубку ноги взамен старого «бутыля» и проверил на выстрел, из лежачего положения потянув сыромятный шнурок с узелком на конце. Внутри щелкнул спусковой механизм. Когда ж испытатель, повернув рельефную ромашку вокруг оси, дернул шнурочек с двумя узелками, протез раздвоился и явил изумленным свидетелям покоящийся в нише короткоствольный обрез. Петруха его вынул, затвором клацнул, дулом все иконы пересчитал и, уложив обратно в «гнездышко», захлопнул. Никаких эпитетов и сравнений никакому летописцу не хватило бы для описания рожденного им восторга. Я и не попытаюсь. Скажу только, что лицо его стало похожим на солнце, как сказывали.

– Братва, стаканы в гору! – заорал он. – Я – другой! Я теперь один в целом свете человек с винтовкой в ноге. Ай да Силантий Иванович, ай да мудрец! За здоровье моего лучшего друга! Долгих лет ему здравствовать!

И посмотрел на того поверх народу гордым и теплым взором, и стал народ выпивать и закусывать во здравие виновника торжества, продляя отмякшему сердцем от такой душевности старому мастеру хотение жить.

А еще всем стало ясно, что во имя сбережения чести выпала Петеньке доленька добывать соль, живота своего не щадя. Слово потому и есть слово.

10

Кратким сроком позже, аккурат на сердцевину месяца марта семнадцатого – в напоминание – года, выпало на село наше Радостино, будто снег на летнюю голову, пребольшое удивление.

Дезертирство.

В образе Егора Воронца.

Великий пост имел место в полном соблюдении своем, потому в табачном дыму посиделок наблюдалось смирение и некая торжествующая грусть. Много молчали.

Так вот, когда отворилась дверь, и в хату сперва шмыгнул воронцовский постреленок Гришка, затем осветлила стены сиянием глаз мама его Марина и, наконец, в пропахшей сыростью или смертью рваной шинельке ввалился сам глава семейства Егор, произвелось такое бурное оживление, будто кто из гроба восстал. Сам виновник при том вроде как был застенчив, уж больно долго очи свои с пола на народ переводил, ровно украл что-то и покаяться норовил.

Покинув позицию под Пинском вьюжной ночью, он ушел в безлюдье родимых болот с трёхлинейкой и котомкой сухарей, минуя позиции немца по оледеневшей после дневного таянья корке снежного наста. Дойти или подохнуть. В понимании подохнуть, но дойти! С вариацией мысли попутно: дойти, жинку с дитём поцеловать – и славным образом на земле родимой помереть. Попутная мысль теперь считалась Егором стыдной и не сказывалась супруге: как же, выдумал явиться, чтобы очень огорчить. Самое смешное, что так едва не случилось. Хорошо, разбудило что-то жену, толкнуло за порог выйти, чему потом она изумлялась.

Пока подымал Егор очи с пола, светлая личностью Марина радостно объявляла, что нашла мужа улегшимся подле крылечка без соображения и сил, но, дурня, с винтовкой. На винтовку и клался грех нехватки мужних сил в дверь стукнуть. Три дня уже минуло, но ведь был человек в большой неопрятности, нужда имела в изведении с него грязи и насекомых, – очень они его кушали. Словом, вшей прогнала, вернула память, и вот мы вам рады.

Тут слово забрал Егор.

– Не хило жили, тыловики – половики, – странным манером и хриплым голосом поздоровался он и низко поклонился, снявши из кролика шапку, да так в поклоне и оставшись.

То ли онемели земляки лишку, то ли поперед старшего говорить не велели себе, но в ответ получилось молчание. Все только в сторону деда Макара внимательно засмотрелись.

– И тебе здравия, Егорушка, – нарушил тишину ветеран Шипки. – Мы, оно, конечно, грех жалиться, может, и не дурно, слава отцу небесному, живем пока. Пока... значит... и вроде как душ своих под ноги не роняем. Рады за живого тебя, конечно. Но чтоб из наших кто с фронту драпанул, отродясь не упомню. Шутка ли – честь засунуть в жопу. Кто Россию бережёт, Егорий, коли солдат об одной своей шкуре думать станет? Так что к батюшке с покаянием пойди, человек, прав ты иль неправ, а нашему вот удивлению удружи, по какому такому соблазну клятву преступил?

Надо упомянуть, что повёл Егор ответ, перемежая фразы такой не принятой в Пост матерной грубостью, что узнать в нем прежнего, хорошо воспитанного юношу, было почти нельзя. Видать, окопная вошь своё дело знала туго и до того изъела мужику нервы, что они ходуном ходили по его истощавшему телу, тряся руки и судорогой сводя уста, отчего говорил он рвано, будто выталкивая из горла застревающие куски речи.

– По гроб земли. Задолбло. Не жисть. Без мечтательной перспективы. Берлин повидать. Хотелка. Сдохла. Целиком сдохла. Анархия в душу, змея, влезла.

– У-у-у-у, – выдохнули слушатели.

– Слово по окопам пошло. Измена в державе, полный блуд. Одни одно болтают, другие другое, третьи всех шлют на три буквицы. Была армия, стало стадо. Пастухов много, и каж-

дый, знамо, на свой выгон гнать норовит. Не война, одна пропаганда. Слыхали такое слово? Раньше трепачами кто звался, стали пропагандистами. Мутят людям головы. Особенности до такого дошли, что бога, говорят, нету, врут о нём попы лукавые.

– Да ты что ты говоришь? – загудели старики. – Брешешь, небось, в оправданку.

Закачал головой Егор, с укоризной на земляков посмотрел, пропустил через забитый окопной мерзостью речепровод парочку густых матерщин для прочистки хода доброму слову, тогда как супруга Марина пальцами ласково бегала по его свежестриженной голове в поисках затаившейся там, быть вероятно, напоследней вши.

И что вы себе думаете? – сыскала! Может, от этого подобрел мужик, может, по другой причине, но ухмыльнулся, хмыкнул и большую иронию себе позволил:

– Да, мужики, по маковку вас засыпало снегом. Всю зиму в нетронутости поживали? Хорошо-о. Спасителя славили правильно? О-очень хорошо. Грехов избегали? Святых почитали? В радостном смирении крест свой несли? Ай да милые вы мои! А вот батьку нашего царя Николая Романова добрым словом поминали?

– Как же! Долгая лета. Всенепременно. Упали на заступника.

– Доуповались, мать вашу!

– Ну-у-у? – застонали вопросом мужики. – Не томи, Христа ради, ирод.

– Скинули! Сам три дня не верил. Скинули батьку. Посреди войны. Полная измена. В самом Петербурге. Кому солдат клятву давал? Царю и Отечеству! Кто смуту в Отечестве учинил и царя сверг? Неужели не вороги поганые! Потому как насрать им на Россию и мечту народную. Власть их прельщает, золото глазюки им застит, антихрист гуляет по их душу. Так то мы в окопах рассуждать понесли. Победил нас германец, братцы, с тылу зашел, через погань всякую. Без царя мы теперь, значит, без головы. Или о многих головах, что змей-Горыныч. Каждая теперь свою думу думает, в разную сторону смотрит, но при том считает, что только она главная и ногам велит только её и слушаться. Вот солдаты и оказались в полной раскоряке, в башках не соображение, а звон один, ноги полную над поступком получили власть и погнали служивых кого куда. Армии – хана.

– А кто с немцем воевать будет? Таки присягу никто не отменял, – не унимались деды. – Мы что, теперь называйся Германией на века веков? Нехорошо получается. Стыдно.

– Сам понимаю. Но слушайте дальше.

– Послушаем, – выразил согласие дед Макар. – А ты к нам садись, дезертир, где в ногах правда? Картошку бери, грибов. Капустки покушай, польза в ней большая. Марфа наквасила. Соли в ней чуть, но клюквы богато, свежа с мороза. Кушай, что бог послал. Дома ты, парень. Поправляйся. А мы слушаем, нам интересно.

– В общем, об измене прознали мы, но сначала сомневаемся, что делать, – продолжил Егор, налегая на постную еду. – Германец стрелять не хочет, да и нам особо нечем. Соблюдаем дисциплину и ждем, что дальше будет. А дальше, отцы, вышел бардак. Каким-то днем приказали нам из окопов вон и в тылу, на поляне, построили. И вышел на глаза пехоте какой-то штабной фрукт зеленый в чистых сапогах и говорит, что никакой измены в Питере ни за что нет и что царя Николая нашего никто не скидывал, он самостоятельно по своей воле с престола слез, и от заботы за Россию. За дурней нас посчитал, козлиная. В жизни не бывало, чтоб русский царь Отечество бросал на произвол. Меж собой о том тихо пошептались, но безобидно слушаем. А тот слегка сбренди и ну поздравлять нас, что мы теперь народ свободный, тирании (слыхали такое словцо, деды?) пришел пипец и настала власть выбора, то есть детократия. Тоже новое слово, но что означает, сказать не просите. Бардак, каким его словом не обзывай, порядком не станет.

– Правильно, Егорий, – одобрил один из стариков. – Скажу больше. В каком государстве беспорядку сверх меры, там и краснобайства жуть. Чтоб, значит, людям замазать видение, чтоб они глазам своим не верили, разумом смущались, а только слово слушали. Когда черное долго

обзывать и обзывать белым, то поверишь, поверишь... Легко человека на вере поймать, особо неграмотного.

– Не на тех напал! Мы от окопных вшей немало мудрости взяли. Дури тоже, конечно, никак не меньше. Однако, братцы мои, такое времечко подступило, что нынче кто умный, завтра в дураках окажется, а кто по-нашему дурак навек, завтра мозги нам вправлять начнет.

– Ишь как?! Бирюк о том бормочет. Теперь ты. Неспроста. Но нам таки интересно, почему фронт бросил.

– Да здравствует свобода! Так нам фрукт сказал. Выдохните – я запомнил – затхлый душок прогнившей монархии и вдыхайте чистый воздух будущей счастливой жизни, какую обещает вам новое правительство России. «Ура», – сказал фрукт. Хлопцы поняли не очень, особенно кому это «ура» на хрен надо, и давай на чистые сапоги кричать, о чем вообще беседа и когда по причине свободы по домам пойдём, надоело воевать-голодовать. А коль уже батьки царя над нашей душой нет, то теперь мы не царская армия, а как бы и ничья, как бы совсем вольная на четыре стороны. Нет, нет, нет, возражает фрукт, рано на покой, врагов кругом, что грязи. Он, ясен день, чуднее говорил, но я своими словами передаю для общего разумения. Красиво, сволочь, беседовал, так что мало чего я понял. А в конце вдруг взял да и призвал присягнуть новой власти. Присягу батьке царю, объясняю вам, похерить, а тем козлам, кто его скинул, отныне честь отдавать. Такой вот вышел поворот, земляки мои родные. Пехота после этого поворота дорогу видеть перестала и при большой обиде съехала с катушек. Мы тебе что, – закричала, – сучки панельные без чести и радости? Мы что, ложись под кого незнамо? Кто-то аж заплакал, общее настроение стало злым, будто всех удобрили из одной большой задницы. Порешили измене не присягать.

– Вполне правильно, – сказали старики. – Если одному присягай сюда, другому присягай туда, а третий придет – и тому угоди, что ж это получится? Не солдат получится, а полная сволочь. Хуже плохой собаки, потому как добрая собака с хозяином норовит могилу разделить. Верность потерять, как душу потерять. Зело грешно.

– Случился дальше общий шум, ругань и конец порядка. Потом и вовсе ужас: один солдатик, малышок совсем, с трехлинейку росточком, учудил. Меткий оказался, в лоб запулил несчастному офицеру. А в чем тот провинился? Приказ исполнял, бедняга. И вот упал мертвый, сапоги запачкал. Мамка теперь по нём плачет, жинка черный платок не снимает. Горе. Не от германца получил, от своего русского брата. Не шуточки. Все аж оторопели. А стрелок наш смеётся, бес в его глазах прыгает. Посмеялся, посмеялся и заревел, что дитя. Умом тронулся, ясен чёрт. Одна жалость и вышла... Кто-то штычком ему кишки проткнул от сочувствия...

Ошарашенная, откуда-то сверху, из бездонного безмолвия высот – в освещаемое скудным светом коптящей лучины крохотное пространство избы рухнула и придавила обитателей всей своей массой могильная тишина. Треск пламени долго был единственным здесь звуком, затем возник шепот молитвы и шорох одежд, вызванный движениями рук: все трижды перекрестились.

– Каково вам, отцы? – тихо спросил дезертир.

– Нам то что? – вразнойбой отвечали ему. – Нам помирать скоро. А каково молодым вперёд смотреть, коли в отечестве братоубийство началось? Забыли, для чего на свете живём, всё святое к дерьму прислонили. Этак германец Россию съест, или ещё какой супостат, пока мы друг дружке морды мутузим.

– Кайзера, доложу я вам, мало опасаться надо. Как токмо в Питере измена к власти пришла, так немец по нам ни одного снаряда не запустил. Мы это тоже заметили.

Рассудили старые, что времена впереди грозят быть мутными, желания людские непонятными, а коли начнет каждый свою правду штыком доказывать, никакой и нигде правды не

настанет. От такой перспективы вполне оправданно дать дёру, дабы в грех не впасть. За большой плюс считали иметь на селе справногo мужика с винтовкой на плохой случай.

Почём завтра будет жизнь человечья, размышлять не решились.

Пост.

11

Отец

– Хочу попросить прощения твоего, сынок. Неудобно сказать, но что-то сильно я мучаюсь. Нисколечко за себя. Вырастешь мужиком, поймешь, каково это – горе детей твоих. Будто вся жизнь – ни для чего. Такая вот тоска. За вас, деток моих любимых, за мамку вашу. С радостью бы умер, чтоб только слезы ваши навек сгинули. Каюсь, вдруг вина моя в том. Дашеньке, как вырастет, известишь мою вину перед ней, пока же она маленькая, не поймет. Не доживу если, передай ей мои слезы и просьбу простить отца. (Здесь отец, подле Ивана присевший на нары, уткнул локти в коленки, широкими ладонями закрыл лицо и на какое-то время смолк).

Ты у меня уже самостоятельный. К добру ли только совпало, что лет тебе столько, сколько мне стукнуло, когда дедушка твой, мой то есть родитель, сгинул от немца? Один я мужичок в семье остался; справился. Так справился, что в этот вонючий вагон вместе с вами попал. Прости меня, сынок... Не-не, не успокаивай батьку, слушай меня и в память клади. Все ли ты понял от пана Богуслава? Слушал прилежно, как я наблюдал. Знаешь теперь, что нам может быть уготовано? Все, что им угодно, а нам и в страшном сне не виделось. До этой беседы не ведал я, в чем виноватый, за что же такое мучают нас здесь, а теперь вот боюсь, что по причине моего понимания правильной жизни, что в труде и совести она. Знал бы, где упаду, – подстелил бы. Знал бы, что придет и по нашу долю такая вот собачья власть – не рвал бы жилы, парил жопу на печи, гнал самогон и махорку сеял, тебя к труду с малых лет не звал. Сам ведь все помнишь, много ли тебе, сынок, доставалось времени на забавы. Виноват, – не понимал по другому. Если по другому – думал – пойдут мои дети с сумой по миру, а за ними и дети моих детей, голы-босы, в мешках вместо рубах, с тремя дырками – для рук и головы. Случалось мне такое видеть. Ну да не мне судить, где я грешил... Неисповедимы пути твои.

... Не допускал и думать, что уж таить, чтобы росли мои дети босьяками и грели свои ноги по холодной росе в лепехах коровьих, подобно как их родителю доводилось. Бывало, подойдет колейка нашей семье пасти, а вот осень на дворе, по инею порой выступаем, а с обувкой – одно расстройство. Лапти на носок вязаный натянуть – недолга радость, скоро одна на ногах вода, таскать ее потом до вечера ужас как зябко. Сапоги? Снились. Вообрази только: твой папа в четырнадцать уже лет, мужик уже почти, сапоги во сне обувает и радуется, радуется, ровно дите забавке. Вот просыпаюсь, а сапог нет как нет; морда на мне тут же хмурая, и мама, бабушка твоя, покойница, очень удивляется: «Степушка, – говорит мне, – ты так хорошенько во сне смеялся, уж я за тебя такая была довольная, а встал – запечалился». А че ей ответить? Не огорчать же. Вот босой иду коров пасти, а ноги коченеют, не приведи господь. Дожидаюсь. Где какая коровка лепеху на травке изобразит, я уж там, двумя ногами забираюсь, – хорошо, твою ж мать, душевно. Стою, значит, греюсь и наблюдаю, не подняла ли где другая скотина хвост для нового сугрева, потому как остуда приходила быстро; пасут у нас, сам знаешь, до морозов. Вот уже скоро сорок мне, а из детства одну работу и помню, а еще то, что неразрывно по малолетству решал, какая пора года мне больше по душе, в какую, то есть, живется мне легче. Думал и так и этак, просто измучился. И что? Да не сыскал я такой поры, хоть ты тресни, не обнаружил. Не придумано для меня. В зиму скука. Валенки – по очереди. Сестер как обидеть? С весны работа сплошняком. Очень учиться любил, потому еще, что отдыхал в школе от земли, от скотины, ну да сам знаешь, сколько дел по хозяйству. Вкалываю каждый день и говорю себе: уж все сделаю, чтобы дети мои на себе не пахали, мордой в грязь рухну, но детей выучу не в четырех классах при церкви, на город отправлю, даст бог, науки получать и важные профессии.

Еще не поженившись, о таком думал, скажу я тебе. Оттого, кажется, что и себя таки жалел, без выхода себя чувствовал, но терпел и радовался тому, что так нужен маме и сестрам, любят они меня со страшной силой, не зазря, значит, на свет прибыл.

Ты вот родился, – опять одна радость. Улыбаешься когда, мне тепло на душу льется, сердцу хорошо, сил прибывает. Андрейку вот, братика твоего, не выходили, сильно простудился. Он только ходить стал. Больно стали мы радоваться и с дурных-то голов дали хлопчику по полу побегать, уж очень рвался. А зима! Пол глиняный! А мы придурки.

... Схоронили. Помнишь братика? Помнишь? – до церкви на телеге гробик везли, ты сзади сидел, все смотрел на Андрейку. Три годика в тебе было... И ладно, что помнишь, и хорошо. Память к душе прилепляется. Увеличивает. Если не злая. На теле вот память не остается, ну если шрам какой только. Вот вспомню для тебя: маленький когда я был, часто мы с отцом дрова пилили, лет с моих семи, пожалуй. А кто еще ему поможет? Взались однажды, и пилим, пилим... Скоренько уж и приустал я, маленький, а не сдаюсь. За ручку пилы своими двумя ухватился, плавно к себе повести силенок-то уж и нет. Батя к себе легонько ведет, а я рывком, значит, из последних, считай, усилий. Тот улыбается, мужика во мне воспитывает, как сейчас понимаю, ждет, когда выдохнусь. А я упираюсь, не хочу сломаться, что папан худосочный, злостью себе помогаю, рву на себя пилу; рву, будто помру, если остановлюсь; пот глаза выжигает – руку не могу отнять, чтоб смахнуть. А он со лба прямо льет горько. Улыбается батяка, смотрит, какой я мужик. И вот себе представь, вдруг решил бревнышко поправить или что еще, да и отпустил пилу, руку снял молчком. Я не то, что это, я уж света белого не видел, глаза от нетерпения давно зажмурил и обыкновенно рванул пилу на себя. Та, ясный образ, из бревна выскочила, а я на спину валюсь и ее за собой тащу. На батяку при том смотрю и вижу у него в глазах натуральный ужас. Упал я на землю, пила на меня сверху, и как укусит зубами в ногу правую! А еще, воткнувшись, плашмя упала, когда я от боли ручку-то отпустил, для полнейшего моего удовольствия кожу с мясом вывернула наружу. Больно, твою ж мать! Но вот что я скажу тебе, сынок. Когда вспоминаю тот случай, то вся эта боль в памяти моей полнейшим пустяком отложилась, уж и совсем той боли не вспомню, даже на шрамы глядя, а вот то, какое за меня переживание у папы случилось, каким на лицо его взошел страх, забыть не получается. Так думаю: зубья пилы той мне только в тело вошли, а жалость отцова, боль его за меня, а, значит, любовь ко мне – прямиком в душу. Так сильно я это событие запомнил, что с тобой дрова-то пилил очень внимательно, не отпускал пилы, научен. Но главное, понял с тех малых лет, что тело, Иван, не хранит боли. Поранится, заживит рану, успокоится и забудет. Душа, душа рану возьмет и носит, ровно груз. Не обижай никого напрасно, просьба у меня к тебе. Не тяжели душу.

Болят сердце. Никогда не было хуже, даже когда деда твоего не стало, вечная ему память. Спокойно все на себя я взвалил. Первой же зимой, помню, корову мы съели – не ходит беда одинокой. От грусти по хозяину, вдруг вот так я подумал невесть почему. Доилась, доилась – и... батяка убитый, мама в переживании, корова – без молока. Одновременно. А как жить? Без молока сильно трудно. Вот здесь приходит к нам Настя Шевчук, – помнишь тетю Настю? – мужик на войне, двое деток малых; просит помощи и телочку обещает, иначе не совладает с хозяйством, мочи нет больше. Разорвался я на две семьи и – от петухов до петухов, с посева до урожая. Помог я тетке. Она нам помогла. Так и жили. Из телочки коровка вышла добрая. Ты застал ее молочко, лет до трех твоих жила она у нас, Рябухой звали. Потомство давала, – растили бережливо. И когда призвали меня на службу, до польского войска, пошел я исполнить закон с легкой душой: семья, считай, о двух теперь коровах и телке, пять свинтусов исправно хрюкают, куры-гуси ходят-бродят, мясо нагуливают, индюки песни поют. Трудно ежели будет по хозяйству, говорю я маме и сестрам, наймите кого-нибудь в помощь, телочку обещайте взамен, и себе и человеку хорошо сделаете. А хоть бы из другого села, тоже годится, мир не без добрых. В письмах извещали, что порядок дома, потому служить было легко. В уланах я

состоял, в красивой форме, в сапогах на завязках, при кормежке дармовой. Отдохнул слегка, поправился. Малость мир повидал. Варшаву, Люблин, наш Брест, Белосток. В городах, ясное дело, народу поболее, водку пить стараются в кабаках, при музыке и певичках, с танцами, – любят люди в городах веселье, как бы меньше у них вопросов к этой жизни, заботы как бы попроще. В армии первую с меня большую фотографию сделали. Польский вояка в польской столице, ядрена вошь, – ну красиво. В общем, врать не буду, мне в ихней армии понравилось, но класть свою жизнь за дело их великой Польши хотения особого не получил. В случае чего из меня вышел бы хороший, обученный стрелять и всячески маскироваться дезертир. Ребята они неплохие, но есть у них к нам гонор, будто мы слегка похуже, от другого, что ли, создателя. По мне же почти такие, как мы: крепко работают, потом крепко выпить могут; если вдруг задаром, – так и вовсе до отказа организма. Обычные люди. Один, видать, шибко умный, обозвал меня как-то «быдлом». Не могу сказать, что я обиделся, но в морду пану стукнул хорошо, от души. Наверное, помнит свою оплошку. Сил у меня и сейчас запас есть, но в этом вагоне, в этой стране, где нас, сынок, совсем не на словах сделали быдлом, чувствую такую свою ненадобность, что просыпаться горько...

Вот пришел домой, на мамке твоей женился, тебя родили, новый дом поставили, лошадь купили. Наладилась жизнь потихоньку, в наймы нужды идти не стало, хватало на себя работы. Спасибо польской власти, – дорогу к нам отсыпали, мостик через гиблое болото соорудили. Народ продукцию смог на базар исправно возить, деньги в ход пошли на городские товары. Опять ежели кто просился тебе помочь, то за злотые. Удобнее стало. А ведь был момент, под немцами когда пребывали, боялись люди деньги в руки брать. Вдруг завтра в другой стране проснемся, куда девать бумажки будем, а? Не пожуешь ведь, не убаюкаешь голод.

Земли добавил. Смотрели за этим теперь построже, податков добавили, но не скажу, что в невозможность. Справлялись. Нужды править лень особой не было, но людям не отказывал, кто помочь хотел; все честь по чести – главное тому место за столом, лучший кусок мяса, первому – тарелку борща, стакан на сон – до краев обязательно. Обижать работника – большой грех. Два раза ко мне просились, как не помочь в нужде. Очень были благодарны, за деток своих говорили спасибо. А и как не понять – сам вчера иным ли был? Так что не чувствую я к себе плохую память.

Никому, сын, слова плохого не сказал, – да услышит мои слова Отец небесный, – избегал греха, как мог; лишнего выпить не позволял себе. И почто я дурнем не родился али пьяницей горьким не стал?! Получается, что работал, пахал всю жизнь ровно конь, а стал по этой причине злодеем и по всему моему семейству очень тоскует Сибирь, если не вовсе пустыня Каракумы.

Никак от вопроса не избавлюсь: что за власть к нам пришла от имени трудящихся, какой эти самые трудящиеся на хрен не нужны? Она лентяя и лгуна возводит на престол, а честный труженик ей годится только как раб. Сначала она обзывает поляков, при которых мы спокойно и честно кормили свои семьи, угнетателями; рисует картинку своего рая, потом объявляет себя долгожданной освободительницей и... делает рабов из поверивших ей. Сынок, коли дадут нам выжить, никогда, ни за что не верь словам этих безбожников. Никогда и ни за что! То воры! Если от чего они нас и освободили, так только от нажитого праведным трудом. Воры! Они, чтобы в дом твой войти, любое обличье примут, любые тебе слова скажут, до всех твоих добрых чувств доберутся, сердце и душу твою изранят сочувствием к ним, только чтобы грабить твой дом, даже запросто убивать тебя, если вдруг пойдешь супротив их дела. А дело их страшно людям, дело их сатанинское и без веры божьей противостоять ему нельзя. Одну свободу мы от них получили – свободу выбрать смерть вместо жизни.

Что поют, слышал? «Смело мы в бой пойдем за власть советов и как один умрем...» Лихо. Это же кем надо быть, чтобы такое вот сочинить?! Это же какая сволочь при белых ручках и ясно сытой харе дала себе право призвать других помереть?! И за какую такую истину? Ты думаешь, этот гад сам пойдет на смерть? Не идиот он, совсем не идиот. Он других норовит

соблазнить жар загребать голыми руками, он других хочет видеть идиотами, он мечтает, чтобы мы с радостью и бегом – бегом спешили в первых рядах поднести свое сердце острому ножу во имя солнечного сияния его жала. Подобно скоту. Ужас в том, что те, кто сочинил нам эту песню, себя к стаду не причислят ни в жизнь, ибо как они тогда порадуются нашей смерти? Наша смерть во имя их власти для них ничего, кроме счастья, и не означает. Наша гибель во имя продолжения их воровского промысла есть залог их существования, потому велют они отнять нами возвращенный с сосочки скот, наши построенные горбом и здоровьем дома, сгребают в свои сусеки наших трудов урожай, сытостью переполняют животы своих деток и лакеев, и снова и снова воюют наше доверие своими словами, завтра суля и нам скорое благо, но завтра, снова завтра и опять завтра. А пока мрите за нашу власть и в мечте о том завтра пребывайте.

Грешно или нет, не знаю, но возьму и думаю: а не поделом ли? Соблазнился таки народ, пускай далеко не весь, антихристу в семнадцатом году, не распознал греха в елейных словах, поддался разобщению и братоубийству, а кто и радостно примкнул к вора, поставив хлеб выше чести, тело выше души, себя выше Бога. Это трагедия! И мы, сыне, в пасти этой трагедии.

... Больше тебе скажу. Эта власть будет стоять, пока будет способна снова и снова обмануть, и она это знает. Как и то, что привязала обманутых к своим грехам жертвоприношениями антихристу своему. А иначе для чего царя казнили? С детишками и слугами, равно в фараоновы времена, будто Христос и не являлся им, и себе сами они закон и суд.

Главное же коварство устремят они через слово. Позавчера они называли себя социалистами – демократами, вчера – большевиками, сегодня прозываются коммунистами, завтра назовут себя какими-нибудь светлопразничными, потом, коли понадобится для обмана, даже родителями истин, но суть их замысла останется одна: украсть наши души, дабы украсть плоды трудов наших.

Всякий раз, называя себя по-новому, будут неистово хаять дела предшественников своих, обвинять тех во всех прежних народных страданиях, иногда для правдоподобия приносить их в жертву, памятники рушить, вещать, что уж этого никогда не повторится, уж они непременно приведут нас в земной рай, и – опять и опять творить грех.

И уверовавший им народ предстанет обольщенным, тьмой этих словес заслоненным от святых слов писания, и вновь, отторгая заветы Христовы, не станет судить их по плодам их и, слепой разумом, даст украсть свою душу.

И опять будет населена самая богатая страна самыми бедными людьми.

Ибо не стало – так думаю – над ней заступничества отца небесного, прямого его вмешательства в защиту народа на все тринадцать колен от часа убиения наместника его здесь, в государстве нашем; по справедливости своей подверг отче испытанию страну людей, попустивших этот страшный грех.

Страшным испытанием станет оборонить чистоту души своей внутри соблазненного мира, и нет ничего страшнее, чем предстать пред судом отчим продавшим душу. За тридцать три серебряника.

Помни, сын, – смерть сердца не есть конец человека...

По правде признаюсь, – только здесь, среди беды, добрался я до таких раздумий. И хорошо! Понимаю теперь, отчего святые люди затворничества искали и шли навстречу мукам. На кого еще уповать в печали, как не на всевышнего, с кем одинокому беседовать и светом бесед этих полнить разум?

Так те люди сами для себя искали тягот жизни! А нам и искать не пришлось, нас в мученики определили. Так неужели нет в этом смысла? Вдруг то испытание нам? Выдержим ли? Сохраним ли чистыми свои души в голоде и холоде? Останемся ли светом во мраке несправедливости? Достойны ли спасения?

...А эти? Поводыри-лгунишки. Заслуживают ли они нашей ненависти, коли, бедные, сами хотят в ад? А палачи и слуги их могут ли вызвать нашей обиды, коли сами несчастней

нас стократ, ибо лишены разума подозревать о справедливости Создателя. Ровно животные. Оттого и есть к ним одна жалость. Потому, сынок, ко всякому гадкому тебе человеку имей сострадание. Ведь не обижаемся мы на пса, попусту лающего на нас. А на змею, смертельно ужалившую тебя, разве можешь ты обидеться? Как обижаться на тварь, лишённую разума? Чем она может понять твою обиду?

А человека, вдруг обращенного волком кровожадным, можно ли ненавидеть, если уже и не человек он? Никак нельзя. Но превратится в людоеда – убивать! Убивать без обиды и ненависти, жалея, что обратился несчастный в зверя. Разве грех изничтожить зверя, нападающего на человека во имя пропитания своего? Если не вставать поперек его пути, одно зверье на земле и останется. Как на войне. Или ты его, или он тебя. Прости меня, боже, если вдруг не прав я, но людоед в человеческом обличье не твой уже сын, но дьявола, он теперь воин врага твоего. А мы – твои! И пусть будет война меж нами, и это будет война за тебя. Так думаю.

Потому что подставлял я уже другую щеку, когда по одной меня били, я просил о справедливости, забирайте скотину, говорил я, забирайте дом, убивайте меня, но не трогайте семью, не лишайте детей родины. Ну и что? Так будь свидетелем, отче, что прошу я прощения у сына и за то, что имел эту слабость.

12

Нота соль.

Когда прилёт на огороды апрель и те подсохли, и босоногая малышня защебетала то на одном, то на другом краю села, выдумывая себе забавы, к Егору Дезертиру, прилепившему к себе после известного события прозвище это навек, приковылял временно не почтальон Петруха Кульгавый. Внеся в избу улыбочивую задушевность на лице, он первым делом извлек из внутренностей своего потертого кожушка пузырьёк, на стол выставил и чеканно произнёс:

– Доброго вам здоровья и дому вашему.

– И тебе не хворать, – получил ответ.

– А не есть ли причина, Марина, изобразить нам шкварок? – спросил затем гость, снимая шапку и присаживаясь. – Без шкварок разве разговор?

Егорова жена, шустрая, от живого мужа до сих пор радостная, быстренько сообразила и шкварок, и картохи, и грибок из подполу, и «ещё чего надоть, мужики?» – полюбопытствовала; еду перекрестила, пробочку вытащила, на двоих налила, сама рядышком стоймя остыла. Положено было ждать. За первую стопку садиться бабе никак нельзя. Уж когда мужики закусят и понравится им, имеют право проявить сердечность и уважить хозяйку. А иначе так и будешь, стоя, подливать мужичкам и гадать, чем бы им угодить, чтоб замилостивились.

Чокнулись соколики, опрокинули, закусили. Гость похвалил хозяйку. Егор взялся за бутылку. Добрый знак: если мужчина берется наливать вторую, значит, женщина будет при делах. Марина прыг-скок, ещё один стаканец на стол и пальчиком указательным: «Егорушка, мне вон столечко» – а пальчик-то ровненько на столе лежит, ноготок едва-едва повыше. Хозяин на сей жест нуль внимания, плеснул на троих поровну. Дружно осушили. И только сейчас, зацепив шкварку и неся её в рот, добрый муж произнёс:

– Ты бы, это, баба, в ногах где правда, ирисе... – и замолчал, не договорил дозволения – гость вошел в речь голосом своим, а гость наперед имеет мнение.

– Кхе, – сказал гость и на Марину посмотрел. – Кхе, брат, разговор к тебе наиважнейший.

Уже собралась присесть женщина, уже табуретку ручником обмела, юбку приподняла, – и опустила ручонки, и застыла стоять.

– Понятно, Петя, – произнес Егор, сверкнув на гостя большими синими глазами. – Не гони, успеем. Нехай сначала баба покушает. Хлопотала, душа моя, – с утра на ногах. Приседай, жена!

Тогда только пристроилась хозяйка на краешек табурета и стала любить глазами, как исчезает большая несолёная картофелина в родненькой, меж усов и бороды розовеющей пропасти.

Налюбилась, выпила «за здоровье» с мужчинками, клюнула шкварочку с грибком вдонку и встала, пожелав аппетита, править хозяйство.

– За солью пора, Егор. Народ тихо плачет, не хочет народ помереть, – негромко и внятно изрёк Петр. – Один не совладаю.

– Да. Дело не шутейное.

– Три, считай, года. С войны. Хуже и хуже. Серьёзный вопрос.

– Давай ещё по глоточку.

Выпили. Покряхтели сладко.

– Худо-бедно, Егорий, без тебя справлялись. То спекулянт заглянет, то сам провизию на обмен возил. Нынче, под германцем, непонятность. Трудно под германцем сообразить, что к чему и почём.

– Трудно. Тут под бабой порой соображение уплывает, не то, что под оккупантом.

Затронули женский вопрос. Поговорили на эту традиционную тему. За здоровье хороших женщин употребили, за тех, кто мужиков-дураков терпят старательно.

– И вот я не приложу ума, есть ли где соль по наши души? – сказал сомнение Петр.

– Должна, как не быть. Городские, чай, где ни-то добывают. Нашлось бы у кого спросить.

– Не в щепотке нужда. Для всех стараться будем. Как бы не пришлось тебе, Егорий, бывшему ворогу поклон бить.

– Вопросительно, – угодил в задумчивость Дезертир, – какие у кайзера порядки? Не знаем. Жива ль торговля у наших или медным тазом накрылась? Не знаем. И кого о том спросить, не знаем.

– Спросить найдем человека. Жиды торговые ежели не смылись, ходы-выходы не могут не знать.

– Будем иметь надежду, что остались.

Выпили за жидов, их жен и деток, за здоровье их и пребывание в довольстве нынешней жизнью. На том бутылка опустела, но аппетит не исчез. Позвали хозяйку, просили принести ещё по причине серьёзности задачи, решение какой трезвость весьма затрудняет.

– Однако оккупант без соли быть не может. Важно, чтобы честный попался. А так люди на вид не злобные, я с ними даже беседу водил, – заявил инвалид.

– Шо ж, будем иметь надежду, что попадется человек.

Выпили за честных людей, потом отдельно за нормальных оккупантов, потом за то, чтоб лето урожайным было, за успех экспедиции и, напоследок, дабы успокоить душу, за то, чтобы помереть своей смертью.

Как Петр добрался до своей постельки, жену спросил он утром. Жена ответила, что при сознании. Пришел, дверь самолично отворил, поздоровался добрым словом и упал с порога в хату. Как обычно. Чин чином.

Опохмелился Петя; свет ему в голову едва зашел; возьми он и подумай, что весь с Егором разговор, весь разговор вроде помнит, а дал ли согласие тот составить ему компанию, припомнить не может никак. Утреннее состояние организма было угрюмым и заставило забыть все на свете хорошие слова. Петрова думка о возможном повторении вчерашней беседы побуждала организм к рвоте, а в темечко втыкала гвоздь досады на себя. Стал оттого Петя тихо ругать себя матом. Пришедшая на шумок жена сильно на него улыбнулась, смеха себе не позволив, однако. И, мать её лебедь белая, уплыла в туман.

Спустя мановенье иль вечность выплыл оттуда на глаза Петру Егор. Радостный и трезвый, пёс. Дезертир, словом.

– Самый пьяный патриот всё равно лучше самого трезвого дезертира, – получил Егор в ответ на приветствие. – Чего, сволочуга, мордой на всю хату сияешь? О чем говорили, помнишь?

– Как же.

– А я вот засомневался. Почем зря, выходит. Винтовочку-то начистил?

– А то. Пока ты дрых, моя к гадалке ходила, довольная пришла. Должна быть удача, говорит. Винтовочку обслужил сразу.

– Значит, осознал. Вернёмся без соли – стыда не расхлебаем. Если что – силой возьмём, у меня на этот грех обрез в ступе запряган. Штука сильно неожиданная.

– Супротив солдата – не грех это вовсе, чисто война, брат.

– Всё равно никого убивать не охота. Ты вот на войне многих жизни решил? Я на японской и японца не видел. Получил снарядом – и до хаты.

– Стрелять, оно, конечно, бойко стрелял, – задумчиво ответил Егор. – Вот обидел ли кого лично, в точности знать не могу.

– Крепкая у тебя горилка выдалась, – сменил тему Петр. – Я с утра двойной инвалид.

– А я уж народу успел объявить, что мы в поход готовы. Баба Марфа жертвует на это дело свою вторую корову. Люди её без мяса не оставят. У ней в зиму мужик взял и помер. Волнуется, что сама на двух не накосит. Советуют также нам в уезд с живой коровёнкой двигаться, дабы мясо раньше часу не погубить при неудаче. Велит Марфа звать ейную корову Маней. Найдем если соли – отдадим на обмен живым весом, а попросят чистым – зарежем на месте.

– Народ плохого не посоветует. Завтра и пойдём. Утром огурцом буду, не сомневайся.

– Вот и славненько. Отдыхай. Чуть свет буду, – пообещал Егор и уплыл из глаз.

Матерно выражая негодование германцу, оставившему его и младшеньких сестёр сиротами, напросился «одним глазком на эту сволочь взглянуть» Стёпка Соловейка, четырнадцати лет пацан, крепкий, работающий, сообразительный. Одному ему на ум пришел вопрос: кто, едрена вошь, будет караул у коровы, в лесочке, мать его забирай, нести, – ведь дурню ясно, что мужикам сподручнее вдвоём разведывать обстановку. Опять же на случай какой-нибудь досады, семя ей в темя, к примеру, попадания мужиков в полон, али иной нечистой силы, коловорот ей в рот, – коровенка цела случится. А соблазнять оккупанта мычащей горой еды донельзя опасно, вдруг он обед с мясом снит, а проснётся – досадует на сон и, не доведи черт, плачет. Венский шницель вспоминает.

«Еле уговорил», – через долгое время рассказывал Степан сыну Ивану. «Первейшие охламоны. Рисковые. Море по колено, океан по грудь».

– Если немца кормят, как нашего брата, то Стёпа думает правильно, – согласился Дезертир. – Мы за Пинском тыл крепко объели. Собака у нас там гавкать забыла. Гавкать собаке стало смертельно...

Собрались. Бурёнку привязали верёвкой к телеге. Помолвились. Перекрестились. Глубоко вдохнули. Выдохнули. Двинулись. Погрузились в грусть апрельской природы; стояла та тихая, цветом напоминающая юбки женщин, в судьбах которых встреч мене, нежели проводов.

И шевелил им ветер души, равно иссохшие листочки; глаз огорченную бездонность всю устремив на тишину. Насквозь пронзаемы рассветом, они стремили ввысь платочки, сердец волнения вливая в одну ревушую волну.

Природа похожа на бабу. Баба есть природа. Разница – в угле взгляда.

... Степан с Егором шли пешком позади несчастной, изредка обиженно и в землю мычащей скотинки. Инвалид барином полулежал в телеге и порой ласкал кобылу речами. Мол, не смотри, милашка, по сторонам, не выросла ещё зелень новая, только пробивается, понимаю, что хочется, самому много чего хочется. Медленно и бесстрастно бормотал он; монотонным и хранящим тайну своего итога лежал путь.

Позади Дезертир обзывал любопытному юноше свою войну одной нескончаемой слякотью, душа от какой содрогается и, неизбежно мёрзлая, так сушит чувство, что порой захочешь поплакать, а не можешь. Первым делом на войне гибнут слёзы. Попадет в какого человека осколок, выпустит наверх кишки, видишь: сильно больно человеку, он рот скривит и волком одинёшеньким взвояет, а ни тебе слезинки, спаси Господь. И воет, и воет, а в глазах сушняк. А, бывало, испустит дух, – тут каждый глаз-то и выкатит по капелюшечке от невесть какой причины. Страсть! Иной бедняга, померев, под себя сходит. Здесь понятней: нет души, и стыда нет. На нет и суда нет. Ежели убьют кого быстрой смертью, иной в зависть бросается, как хороню, говорит. А всё от неизвестности, в каком виде твоя заявится смертушка, добрая аль злая матушка – вот до чего, сукины сыны, саму смерть возвеличили, каким имечком наградить удумали.

– А я, думаешь, краше был? Это сейчас рассуждаю, а в окопе для пользы дела всякие мысли гнал, чтоб не рехнуться необратимо, – непонятную, но явно выношенную мысль обронил Егор. – Очерстветь душой иногда просто надобно, чтобы с ужасом совладать. На войне жизнь другая и человек другой. Или на войне и жизнь – не жизнь, и человек – уже не человек? Я вот раньше слышать не мог, как поросся визжит зарезанное, видеть не мог, как оно предсмертно по огороду носится, убегал со двора подальше, только отец ножик точить доставал. А нынче? Человека чикнуть, что в грязь плюнуть, о-хо-хо. Умом понимаю, что душой пока хворый.

– Пройдёт, Егор Палыч, пройдёт полегоньку, – пожалел дезертира Степан и, отца вспомнив, добавил: – Хворым таки лучше жить, нежели убиенным.

– Знаешь, что тебе скажу, парень? Мне теперь совсем неясно, кому, когда и где лучше.

Разговор, о чём бы он ни был, идти помогает, отвлекает от усталости. Вот и говорили мужики: тот с лошадкой, эти меж собой.

У гати резко замолкли и оторопели. Было от чего. Пока наши герои лишены речи, есть минута вставить слово о том, на что взглянули они вылупленными зенками: гать, положенная через гиблое место, являла собой, культурно говоря, огорчение. Здесь сужаясь горлышком, направо и налево расширялась смертельная топь. В незапамятные времена замостив, сельчане старательно содержали переправу, но трёхлетняя из-за наличия войны и потому пропажи справных рук небрежность даром не пропала. Опять же большая снежность минувшей зимы подсобила, и пред занывшими сердцами путников явила собой переправа слой склизкой грязи поверх шатающихся бревен, храня в проёмах память об сгинувших собратях. Чтоб корова не заволновалась, дали ей кушать сена, а сами стали беспощадно чесать репы, ибо озадачились. (Собственно, с этого момента и начинается у любого жителя наших Радостны пересказ истории, хранимой и передаваемой по наследству. А то бы здесь откуда ей быть? Как и многому, многому другому). Переход Суворова через Альпы для мужиков враз померк, что ли, представился менее значимым, каким-то не особо нужным российскому населению, почти забавой. Что за героизм роте солдат втащить пушку на гору? Просто тяжкая безмозглая работа. Сила есть – ума не надо. А коровенку через трясины ждущую сопроводить по брёвнышкам в ряске тине, мил дружок, живым сохранить и скотину, и себя, – никакой подвиг не поможет. Геройство начинается с кончиной действия ума и означает попытку обыграть смерть в её любимой, ею же придуманной игре. Насколько это удаётся, побывавший на войне с умнящей германской машиной Егор имел богатое представление, потому и заявил, что «ежели тщательно не сообразим, поймеем самую бестолковую, самую, значит, геройскую, братцы, погибель».

– Этого нам нельзя, – поддержал Петр. – У топнуть – это просто. А кто соль добудет? Нам позору не надо. Особливо дохлым.

– Лучше медленно подумать, чтобы быстренько не сгинуть, – по юному возрасту мудро заявил Степан.

Репы чесали тщательно. Когда стало ясно, что день сегодня пропал, друженько порешили, что это вполне и к лучшему. Вдруг сегодня германцы голодные да злые? – тогда отводит господь от лиха. Завтра, значит, вполне и сытыми могут быть, полегчавшими сердцем, что хорошо.

Положение слегка обсудив, решили мужики, что всякая беда вообще есть родительница радости, потому как закончится когда, в близкий час, да пускай хоть минуту, – а не явится, стерва. Радуйся себе на здоровье, сколько влезет – прошла ведь бедушка. И следующая пройдет, и опять нас порадует, опять согреет сердечко. Ёлки-палки, так наша жисть и не жисть, а сплошь тогда удовольствие, когда любая беда, ровно тень пташки мимолетной, хрен когда заслонит нам солнце.

– А ежели смерть явится? – мудро спросил Степан. – Опосля-то какая радость?

– Господи помилуй, воля твоя. На это нет знания, Степа. Одна вера. По вере и получим, – так ответил Петр.

– Мимо суда не проскочим. Однако же если в рай определяют, когда человек и при соба-
чьей своей жизни больше добра в душе накопил, нежели зла, то допускать нельзя, чтоб горе
делало человека злым. Потому и беду надобно возлюбить. Как родительницу, Стёпа. Тогда,
думаю, будем иметь шанс, – так ответил Егор.

Ага, – сказал Степан. – Всё понятно. Хочешь после беды иметь радость? – полюби свою
беду! А хочешь после смерти иметь рай – полюби свою смерть? Интересно получается.

– Получается, что так, – в один голос произнесли мужики...

Принялись за работу, благо, топор, в дороге необходимый инструмент, забыт не был. Как
нельзя кстати сказало согласие прихватить с собою Степана, и теперь парнишка ловко, где
на коленках, где на пузе, сновал по коварным брёвнам: здесь новое положит, здесь клиньями
подкрепит, толковый.

Егор рубит, Степан мостит, Петр кашу варит работникам. Отступление не предпола-
лось. В полные грустного недоумения женские глаза смотреть было бы тяжело. Не желая кон-
фуза, радостной усталости себе не позволяли, норовя справиться засветло. И пришел момент,
когда Егорий сходил на коленях туда и обратно, одобрил работу и отважился заявить, что
телега вполне пройдет. Оглобли лошадке помогут устоять, поводя только надо тащить впе-
реди, не спеша по возможности для пользы дела. Перекрестясь трижды, Егор с поводьями сту-
пил на гать, по слизи, как посуху, смело-твёрдо ставя ногу, и тут же через страшную боль в
заднице получил урок уважения к природе, – ботинки аж выпрыгнули в небо и улетели бы,
будь не в размер. Что говорил упавший, спиной тормозя своё сползание в преисподнюю, сооб-
щать просто неудобно, но какая птушка пела, та враз и смолкла и петь этим днём зареклась,
потому как и в небе может проживать испуг: всякая тварь живущая чувствует дуновение с
одежд смерти. Однако удержался на скользких брёвнах мужик, задержался на этом свете. При-
ложением к мягкой задней части, как известно из детства по роли в нём родительских и учи-
тельских розг, восполняется нехватка знания и побуждается выход ума. Егор тут же папу-маму
вспомнил и осторожность очень полюбил, на прямые ноги вставать себе боле не позволяя не
по причине возможной своей гибели, а от понимания невозможности после неё исполнить
народное задание. А уж когда Петруха его обругал за то, что тот поперед батьки полез и ядре-
ной вошью обозвал, понял и главную ошибку: ну и ну, перед таким важным делом умудрился
забыть о молитве. Пополз, родненький, назад, к тверди земной, где велел всем на колени встать;
и «Отче наш» прочли они, и все они перекрестились троекратно: без креста над собой любому
упокоиться несладко, да и отпевание своё от батюшки желательно бы послушать, лёжа в дух-
мяном, свежей сосны гробу...

– Ты ж подумай, – сокрушенно покачал головой Дезертир. – Седмицу на пузе полз в
направлении ещё чуток пожить, а тут взял и в момент помечтал утопнуть позорным делом.
Ну шо за оборот, а?

Спрашивал он скорее самого себя; ответа не ожидая, извлёк винтовку из телеги, прила-
дил штык и, в бревно наперёд воткнув, шагнул со второй попыткой. Пару шагов сделав, не упал
и таким счастьем, ровно дитя, улыбочиво загордился. То одну ногу стало надо ему поднять, то
другую, устойчивость то есть продемонстрировать, и восклицать возбужденно:

– Хорошо соображалку в порядке содержать! Всем советую, братцы! Эвон как я быст-
ренько смекнул! А какой костыльёк славный, чёрт с таким не страшен! Слушай, чего говорю:
самый лучший способ двинуть в ход мысль, – теперь понятно, – крепко шибануться люби-
мым задом. Вмиг помогает! (Здесь он увесисто шлепнул себя в упомянутое место – аж брызги
полетели). Обязательно трезвит мозги, скажу я вам. Впечатлительно! За мной, пехота! У кого
крепче жопа, того и победа! Не дрейфь, братва!

Подхватил оратор вожжи и ну вперед, на винтовку опираясь твёрдо, брёвна штыком пере-
считывая, ровно рёбра заклитому распростёртому врагу.

Ласточка, неопишимо робея, ступила на помост и, смотреть страшно как, пошла. Ухвативши задок телеги то ли придерживать её, то ли иметь опору, Степан, вздыхая тихонько от жалости к лошадке, зашагал за ней. Пётр, поскольку инвалид, восседал по центру телеги, руководя голосом. Обстукивая железом обручей стыки брёвен, телега скрипела, шатаясь со стороны в сторону, но удерживалась середины гати, потому как мужики томительный этот процесс бдительно наблюдали. Тверди достигнув, срочно для успокоения сердца решили закурить. По причине голода на бумагу набили самосадом трубки; много их настрогал за зиму дед Сидантый, давая людям повод доброе о нём слово промолвить, исполнив тем ту единственную мечту, какую ещё мог позволить себе старый плотник. Это зная, похвалили мужики плотника и предались непростому и отнимающему время ритуалу добывания огня. Время же, на них внимания имея ноль, шло себе, куда ему надо, по причине бесконечной своей свободы.

«Весёлыми стали соколики, – рассказывал потом Степан, – курят, промеж собой калякают, уж и выпить соображают. Я, взрослым не указ, стою молча и жду, когда им разум вернётся. Не дождавшись, скромно спрашиваю, что дальше делать будем? А шо такое, почему вопрос? – удивляются те на меня. Напрочь за трудами забыли, для чего вообще трудились! От восторга, как понимаю. Вопросы нет, – говорю – есть предложение смастерить крылья. Они давай глазами удивляться! Для коровёнки нашей, – уточняю. У них трубки изо ртов выпали»...

В этот же момент и корова Маня с того берега замычала, мол, ково хрена бросили на произвол, не пора ли доить? Егор себе по лбу ладошкой стукнул сильно, едва не упал.

– Ты для чего, мать твою, наше мясо забыл? – заорал он на инвалида.

– А ты? – гаркнул ответно Петр. – Мне, к примеру, как страдальцу за Отечество, простить совсем не грех, твою тоже мать. Гуляй ты на одной ноге, я бы на тебя не гавкал.

– Ага, понимай так, что мозгов не надо, коль нет ноги. Или мозги вместе с ногой оторвало?

– Ядреный корень! Ты когда упал, вроде умишком поправился, а сообразить не хочешь, – оправдывался инвалид, – что я об одном думал, как бы вас не обездолить, не сковырнуться с телегой вместе. Память и высушил. Большая опаска жить при одной ноге.

Пока поругивались они легонько, апрельский день их не ждал и уходил прочь. Ничего не оставалось дезертиру, кроме как вернуться к бурёнке, чтобы подоить несчастную и беречь от зверя. Понёс на тот берег дезертир охапку сена, винтовку и тоску на лице.

На том бережочке облюбовал он берёзу, бросил подле копёнку сена, привязал Маню. В дымящейся трубке донесся огонь, развёл костерок. Под корову лёг и стал доить её, струйки молока направляя в открытый рот. Получалось неудачно, но, пока облегчал вымя, нахлебался до отвала. Отвалившись, сказал Мане «спасибочко» и, в костерок подбросив брёвнышек, возлёг на сено ногами к огню при полном удовольствии; в сей момент, – сказывал потом, – хорошую бабу рядом вообразил, так примерно стало человеку. Пригрелся в теплом кожухе, захрапел бывший вояка. Маня прилегла рядом, потихоньку таскала из-под мужика сено и скорбно жевала.

...В неведении тревожась, беспокойно спали в тепле односельчане. Уложив деток на тёплые печи, воображали взрослые самое худое, невольно размыкали веки и, вздыхая, глядели в законную темень, слушали невесть что...

Разделённые с товарищем гатью, Степан с Петром легли в телеге рядышком, и спали бы в спокойствии, коли б не выстрел на той стороне, где Егор. Встали, стали кричать вопрос, что и почему, и разволновались: молчит Дезертир, сволочь. То ли далеко отошёл, то ли слухом повредился. Так и ждали рассвета в тревоге.

Холодом по ногам вошло в Егора утро, с большими глазами Степана, вместо неба на него засиявшими, и его вопросом: «Куда корову задевал, дядя?»

– Никуда! – со сна прокричал Егор, но огляделся и понял, что соврал: Маня оказалась умной скотиной или дезертир плохим пастухом, соображать было поздно. Следовало немедля Маню найти.

Первым бурёнку обнаружил паренёк и с разными ласковыми словами на цыпочках стал к ней приближаться, норовя схватить за веревку, благо Маня узел на шее своей развязывать не умела. Та, умная, что собака, дала сблизиться и вдруг, передние ноги подняв, прыгнула дивным образом вбок и понеслась мелким лесом прочь, волоча веревку и несчастно мыча: «Не троньте меня, гады. Ково хрена я вам сделала? Я жить хочу, му-у-даки вы этакие». Крепкий и быстрый Стёпа ломанулся за ней. Та, хитрая, позволяла с ней сблизиться и прыгала стремглав, чтоб затем повернуться большими и красивыми глазами в сторону паренька, угрожающе опустив рога. Много бегали они по лесу, а затем плюнул Степан в сторону игривой Мани, сел на траву и заплакал. Сидит он, кулачками щёки подперев, в землю смотрит, ждёт, когда оттуда цветок вылезет. Долго ли он ждал цветка, чёрт весть, но тут сказало ему небо: «Не горюй, парень, не смейши природу». Показал Стёпа свои очи небу, а оттуда Егорова улыбка солнечно сияет и табаком смердит. Но, главное, позади дезертира с веревкой на шее смиренно машет ресницами Маня.

– Притухла му-мучительница, – заикнулся в её сторону Степан.

– По морде неплохо схлопотала, – объяснил старший товарищ. – Теперь довольная, что не убил. Много ль бабе для счастья надо?

– А ты в кого ночью стрелял? – спросил Степа. Собственно, этот вопрос он сквозь рассвет и нёс Егору, да вот исчезновение Мани отвлекло. – Мы с Кульгавым сильно перепугались.

– Да стыдоба на мою душу, хлопчик. По костру. Видать, война из нервов не выходит, понимаешь. Сначала стрельнул, потом только думать стал: а куда, а по кому, а зачем? Спросонку-то уголёчки красненькие за волчьи зенки воспринял. И в нервы. Целый патрон истратил. Стыдоба-а-а.

– Небось, Маньку выстрел озадачил; она и утекла. Ну да что было, то прошло. Пора переправлять корову.

– Чтоб в ней бешенство опять не загуляло, сначала её выдоим. Таки утро.

Подоили.

– Теперя, парень, на непростое дело молитву скажем. В какую сторону говорить надо, конечно, есть загадка. Думаю однако, что главней – говорить чувственно.

Решили лицом на юг, в сторону земли обетованной, на колени. Вместе стали молитву молвить, и вышло так:

– Оотччее нааш, ежжее ееси наа ннебеесии, да ссвятитсся иимя твое, – с паром дыхания слова возносились в небо.

Помолились. Перекрестились.

– Стёпа, не слышал ли ты? – птушки замолкли, когда мы молитву правили? – вдруг спросил Егор.

– Как-то я без внимания, – ответил паренёк.

Точно говорю. Перестали заливаться, ей-богу перестали. Это хорошо.

– С чего бы?

– Значит, слушали нашу молитву. Внимательно, считай, козь не дыша. А ведь они поближе нашего к господу располагаются; значит, вполне в правильном направлении мы говорили. Уж когда птахи слушать стали, вдруг и Он послушал? Хорошая у меня надежда? – скажи.

– Скажу. Красивая у тебя надежда.

– Ох, только б не осерчал за грехи, не попустил заступиться. Ой, да это ж я только о себе. Ты пока молоденький, ангел с тобой. А я вдруг ненароком невинного на войне порешил? И вот тебе склизкая дорожка. Всякая мысль захочет забрести.

– Спаси и помилуй.

– Хорошо, что птушки замолчали. Легчительно.

...Одинокий, очевидно, голодный орлан резал кругами небо, да не было то головкой сыра, и под смеющимися лучами восходящего солнца немедля смыкало себя за крыльями птицы. Смотрел добычу хищник, всякому внизу шевелению внимая в остром предчувствии крови и сытости. Оживал внизу мир, к теплу и свету рвался, стряхивая зимнюю дрему, теплел сердцами, искал себе и деткам пропитание, подчас сам являлся причиной подобных поисков, нечаянно становясь пищей. Высунется из своей норки мама-мышь порадоваться весне, посмотрит вокруг, понюхает, никакой опасности не обнаружит и выпрыгнет, предвкушая кормление своих слепых мышат, оставленных ею. Стремительной тенью, лишаящей понимания происходящего, с неба упадёт её смерть. Орлан понимал, сколь беспечно существо, предающееся восторгу и, стань он человеком определённых воззрений, имел бы основания считать себя помогающим уходу того самого существа ко всевышнему в момент проявления просто бушующей радости, а следовательно, делом вполне гуманным.

Раньше хищник обитал в иных местах, но обстоятельства сложились так, что любимые им поля войны вдруг перестали вышивать крестиками своих мертвых тел солдаты, и глаза перестали быть лакомством. К живым же людям отношение орлана было столь безучастным, словно их и не существовало вовсе, но вот кресты, рисуемые ими, влекли. И потому, когда на переправе путники с двух сторон ухватились за веревочный хомут на Манькиной шее в стремлении удержать её посередине, они образовали фигуру, столь радостную взгляду с неба. И хищник закружил над нею в терпеливом, давно привычном ожидании того, как та сначала замедлит, затем прекратит движение и, смертной судорогой нарушая красоту пропорций, замрёт наконец и станет желанно-доступной... А затем... Затем везло только тем, пред чьим последним взором успел предстать летящий в глаза земной шар...

– Смотри-ка, Стёпа, эта летучая падла думает о нашей промашке, – заметив кружение в небе, осудил птицу бывший фронтовик. – Она, тварь, понимает людскую трудность. Так что, парень, держись. Веревку не славь. Нехай скотина чувствует, что мы крепкие ребята.

– Да она вроде смиреннько передвигается, ногу осторожно ставит, – скорее успокаивая себя, заметил подросток.

– И не трусь! Это ей передаётся. Будет нам позор, если Манька скovyрнётся. На этот случай иди впереди, чтоб тебя не подмяла, не дай бог. У топнешь если, придётся и мне вместе с тобой утопнуть, а то ведь не поймут люди, жизни всё равно хана при таком раскладе.

– Ну! Как дела? – непрошено кричал с берега Петя Кульгавый. – Сухо ли у вас в штанах, черти полосатые?

– Сам не обделайся, – вяло отвечал ему Егор. – Устроился сачком работать, так не ехидничай! Мы люди едва сдержанные, легко по морде угостим от обиды за отвагу.

– Хорошо, – сказа Петя. – Здесь я вашего наказания очень даже жду. Живёхоньки только дойдите, мать вашу так. И бейте, – для хорошего человека разве жалко? Пожертвую вам свой внешний вид с полным для вас удовольствием.

Обстановочка незлобивой человечьей ругани для нашей коровёнки была просто домашней и, возможно, действовала успокоительно. А еще, быть может, была скотина умной по старости своей, но, иногда крупно вздрагивая от неизвестных нам собственных мыслей или ещё какой напасти, шла, переполненная осторожностью, особенно неожиданной после недавних её буйств. Путь выдался долгим, и какая же досель незнамая лёгкость вошла в головы и руки сопровождавших родную скотинку, когда та, почуяв твердь передними ногами, выбросила из глаз страх, подняла хвост и облегчилась. Смех вырвался из пересохших глоток и ну бегать меж берёз и елей.

... Высмотрев с опушки крайние дома, вручив пареньку винтовку и оставив его попечению Маню, Егор с Петрухой сели в телегу и отправились за судьбой, проверять гадалку на вшивость.

Местечко встретило молчанием, будто съело собак своих и спало сытым. Не посмели мужики нарушать покой, ехали молча и всё больше вдаль глядели, норовя признака жизни не пропустить, как прямо под ноги Ласточки влетела невесть откуда бешеная птица курица со страшным на весь свет криком, так что почтальон бледный лицом стал и уронил поводья, лошадка сбоила, а храбрый фронтовик немедля выпал из телеги. Восседал он, знаете ли, ножки набок свесив, а теперь возлёт в пыль с ладонью поверх чудом не лопнувшего сердца – хохма, сказать стыдно.

Чертыхались шепотком, ибо птица курица моментом сгнула и тем опять постелила тишину; и увидали они шаркающую по этой тишине старушку с вязанкой хвороста и очень радостно пожелали ей здравствовать и спросить решились, жив ли и торгует ли ещё обязательно знакомый ей Соломон, покупает ли у народа скот живым весом, дабы делать из него куски мяса и иметь с этого дела копейку. Нет-нет, если вы уже подумали, что Соломон сам рубал корову или – ужас! – свинью, то невозможно так думать. Соломон ставил цену, он так ставил эту цену, что я вас умоляю. А во дворе его лавки славянского племени детинушка играл вострым топором, в паузах изредка, но влюблённо потребляя внутрь тёплую кровь, – хозяин не доверял пьющим водку.

Не помогла им бабушка, глянула только жалостно, будто на погорельцев дурдома. Онемела, – сочувственно поняли те, – попробуй не онеметь, коли шныряет по родимой сторонке грусть, сука, душит людей за горло.

В шестидесяти вёрстах восточнее окопался оккупант, и, смиренный, одной теперь листовую шумел городок, одним деревьям попуская веселиться под пьяно гуляющим ветром.

На диво взгляду, дверь в лавку легендарного Соломона была настезь: смотри, прохожий, будь ты хоть самая германская сволочь, наблюдай мою внутренность и утверждайся безо всякого беспокойства ночующему над торговой залой хозяину, что ни шиша во мне нет. Принимай, гость любезный, и ту собачью правду, что последняя домашняя мышь третьего дня откинулась и не долга будет печаль желтоглазой киски, удивлённо и кротко оценившей взглядом двух мужичков, принесённых каким-то чёртом, и снова уснувшей на первой ступеньке лестницы, ведущей до хозяйских покоев.

– Есть кто живой? – не стовариваясь, заорали эти мужики совместно. И заулыбались друг на друга.

Не докричались. Послушали тишину. Тишина намекала уходить вон. Но не затем добились.

– Петь, а Петь, – зашептал дезертир товарищу. – Слышь-ка! Ежели кошку народ не сожрал, жизнь тут вполне терпима, и соль должна-а, должна-а... мать её в перец. Я фиброй души чувствую. Есть во мне маленькая, но радость! Котяра, глянь, – не сухая ещё. Кормят, ко-ормят котяру.

Схватил он тут кошку своей мозолистой рукой и согрел ею свою грудь. Та любовь не поняла, громко и хрипло замыкала, «ма-ма» у неё выходило, а после и змеюкой зашипела, тёплая. Оказалось, неспроста. Наверху мягонько чмокнул замок открываемый, бренькнула щеколда, скрипнули петли дверные, высунулась личность, глянула и скрипнула взад – небось, подумать, надевать ли штаны, скрипнула вперёд и вышла на лесенку – в штанах, босая и давно не бритая, с жутким скрежетом почёсывающая вопиюще волосатую грудь.

Конечно, умный Соломон не рассчитывал быть неузнанным, Он босым и немытым потому вышел, что стал таким же бедным, как все. Для себя? – это большой вопрос. Для остального населения – включительно босяком явился на глаза бывший лавочник, солидарно моменту жизни. Оккупация – не сестрица, говорил его вид, оккупация всех обижает.

Опять же попробуй в сапогах выйти, бритым и в одеколоне, – легко снять могут сапоги в порыве неразделённой любви и в бритое лицо стукнуть, потому как в такойе стукать приятней.

Нет. Босиком – надёжней, симпатичней народу. А иначе не поверит, что последняя мышь в доме самостоятельно отдала концы по причине того, что кошечка с голодухи слаба сделалась за ней бегать, и вообще хилая стала жизнь.

– Доброго здравия, господин Соломон Наумович, – это Петя произнёс, от Пети хрен замаскируешься.

– Ой, да Ви шо, почтальон, да Ви шо? – вроде как не поздоровался лавочник ответно. – Какой я теперь кому господин? Вот – еле живу. А как Ваша нога?

– Какая? Левая – со мной мучается, а правая – я же говорил – в стране Китай отдыхает, ей там хорошо.

– Ах, простите, спросил глупость. Я же вышел знать, вы сюда по делу или задушить мою Кралю. Если второе, то это ерунда! Шо с неё можно выдавить, кроме две последние капли крови? Скажи ему, почтальон, чтобы он кончил крутить мои нервы. Краля же последнее существо, что меня пока любит, я вам доложу.

– Петь! – повернувшись к товарищу, заорал вдруг Егор. – Ты только послухай, как они кошек своих жалеют! Ты послушай, как им на гостёв раз плюнуть. Ни здрасте, ни морда в улыбке; им люди – говно, им кисочку жальче! А люди, мать твою Соломон, когда без соли печально живут, кошку разную не больно любят, вполне даже наоборот. Так я тебе скажу.

– Не пугай мужика, будто ты на весь разум сбрендил, – прошептал в ухо товарищу Петя, в ответ на что тот подмигнул незаметным лавочнику глазом, невидимый уголок губ улыбкой вздёрнул и прищемил Крале шею мозолистой, как мы помним, и не очень чистой, как замечаем сейчас, рукой, отчего киска забыла возмущаться и обвисла тряпкой, надеясь быстро помереть.

Соломона нашёл ужас и погнал вниз по лестнице. Руки умоляюще полетели вперед и настолько опередили все остальные соломоновы члены, что этими руками вперёд упал человек, а с лестницы падать некрасиво.

Егору смешно стало, ослабил он пальцы, дал Крале хлебнуть воздуху, зашевелилась мученица.

– Наконец гордый жид уважил сойти со своего неба, – довольный Дезертир вручил в протянутые к нему руки кошку. – Стой тут. Будешь держать честный ответ! Или воспитания требуешь?

– Я совершенно честный человек, клянусь мамой.

– Ага. Зачем так сказал? Я – не просил. Теперь убью, ежели врать будешь. Сейчас запрещено – сам понимаешь – измена присяге в час войны – за язык тебя не тянули, Соломон твою мать. Ножик у меня немецкий, хороший, больно не сделаю.

Лавочник крупными каплями вспотел, – ну что за жизнь, всякие архаровцы безграмотные туда-сюда гуляют. Ах, почему Америка за океаном? Разве встретишь там подобного босяка в драной без пуговиц овчине поверх натальной рубашки, в штанах домотканого льна и солдатских ботинках. Ножик у него немецкий, видите ли.

– Ви, наверное, от войны убежали? Если да, то почему при том надо душить кошку и грозить мирному человеку? Что я Вам здесь такое исделал?

– Как есть я тоже честный человек, то скажу, что до последней крови боец за Родину. Но где теперя Родина? Смывась. Ну и я вылез из окопов, хожу здесь, спрашиваю умных всяких, куда она на хрен делась. Ты и попался. Сашка Керенский, что царя нашего скинул, ваш человек? Отвечай!

– Моя бедная мама! Ты это слышишь? Если ты это слышишь, то лежи спокойно, косточки береги, – это меня что-то спросили. И я отвечаю, что за Сашку – без понятия. Если какой говнюк сделал кому обиду, то где там Соломон и его бедная Кралечка? Зачем мы стоим это слушать?

– Для затравки разговору. Для понятия, что мы серьёзные люди. Этот Сашка нашего царя скинул, Бога не забоялся, мозги теперь народу крутит, как ты мне пытаисси. Вашей веры, вашей. Счас я и тебе шейку ущемлю, – враз врать остынешь.

– Я не вру, уважаемый. Я честно не вру!

– А перекрестись!

Капли Соломонова пота в ручейки обратились и потекли по морщинам. Этот мужик – не простой. Задачки задаёт. А что на уме? Шупает, есть ли чем поживиться? Давно никого не убивал? – скучает по такому удовольствию? – ишь в какое положение ставит. Аж задница мокрая. Не перекрестись – ножик достанет, – вот, за пазуху потянулся, – а что ему жида чикнуть, жида любому босяку радостно чикнуть. А перекрестись? Сволочь, – скажет, – последняя трусливая сволочь, на веру свою во имя спасения шкуры готовая плюнуть. Шо делать, мама, шо делать?

– Перекрестись, едрёна вошь! Душу не то выну, хитрая рожа! Не зли меня ни за что! Рука у меня очень горячая!

А Соломон потушил глаза и всё думал, как бы вылезти из дурацкого положения, и до того задумался, что отвисла у него челюсть, открылся рот с тусклыми и неровными в нём зубами; верхнего переднего не было.

Заглянул в этот рот Петруха, засмеялся. Несмотря, что лавочник, стоял перед ним человек обычный, достойный получить в морду – эвон, как зуб-то вышибли. Ха-ха!

– Слышь, Егор, – зашептал он на ухо товарищу. – Ты шо, решить его хочешь? Мы ж за солью пришли!

– А я шо добываю? – получил в своё ухо ответно. – Спокуха, брат...

– Мотет бить, я чем ещё поклянусь, что за Сашку Керенского не имею вины знать, кто такой? – проснулся мыслями Соломон. – Петя, Вы же добрый человек. За что я здесь? У меня три дитя. Кто им даст ложку супа? Так никто! Петя, ну Вы же хороший человек!

– Хороший, как же – согласился почтальон. – До всех имею жалость. И до этого вот дезертира. Он не сам такой по себе, Наумыч, его война поела, в ём злоба самостоятельно гуляет, а он её не любит, оттого в нервах. Слышь-ка, Егор, а не сделать ли нам сочувствие? Человек, видать, понимаешь, веры не христовой, а ты ему: крестись. Да ему за это раввин второй зуб выбьет, когда прознает. Нехай иную клятву даёт.

– Правильно, Петя! Почему нет? Сейчас я тебе поклянусь, чем тебе угодно. А то сразу – ножик острый. За шо такое мне такое наказание? Тут кайзер мимо окна сапогами топчет, говорит, шо мы уже не Россия, так нет – приходит мужик, и я отвечаю за его царя.

– Ты мене тут глазами не бегай! – гнул свою линию Егор. – Насчёт царя я твёрдо знаю! Но простить могу, ответ только с уважением, куда ты, собака, соль подевал? Закопал где? Сюда смотри! В глаза!

О, мама! Он таки достал. Ножище! Вертит. Ухмыляется, головорез. Ай, верно говорила Мойра, не открывай дверь – говорила, не выставляй нищету, найдётся негодник, не поверит, и назначит твоей жизни, Соломоша, цену в одну ломанную копейку. Ай, права Мойра! О, большой ножик!

– При Ваших угрозах, простите, память моя идёт в жопу, где в нашем городишке у кого спрашивать соль. Почему нельзя спокойно говорить проблему и обязательно зачем вынимать ножик? А шо будет, когда у меня лопнет сердце, кому счастье? Дохлый Соломон Вам поможет?! Ага. Он Вам так поможет, что Вы будете кашлять на всю жизнь, – отчаянно заговорил лавочник, при том слушая, как кто-то подло влез ему в грудь и заколотил в свой большой барабан. – Я бы с удовольствием помер, да не дают детки и прусак надоел ходить за удовольствием всучить мне свои марки за что-нибудь ему выпить. Так он мне хотя бы понятный. Но тут явились два местных мужика и по что? Они тоже хотят мене всучить, и что? Ножик. Никакие тебе не гроши. Ножик под рёбра, чтоб я так жил. Так за шо я должен искать вам продукт?

– Ты только не хитри, – прервал Егор, но нож спрятал. – Нам без соли никак, позор один. Нам без соли тебя зарезать совсем легко. Да и себя...

Спокойно и тихо сказал, как бы сам себя уговаривал. «Кто их разберёт, – подумал лавочник, – этих вчера добродушных белорусов. Оставили лошадь на дороге, замечательный трофейчик. Как бы их самих не огорчили. Золотишка у них нет, но отчаянья – до холеры».

– Как понимаю, вы при сложной задачке, господа, – вслух продолжил размышление Соломон. – В Московии ужас, так у нас даже хуже, мы даже не знаем, в каком государстве будем жить, если дадут. Дошли вы до смысла резать людей за продукт, или шутите, но золотишка у вас нет, а деньги теперь полная пыль. Что вы имеете предложить за такую вещь, как соль? В ходу диаманты, золотишко, даже давно покойные голландцы со своими холстами ногами открывают хорошие двери. А шо имеете вы?

– Корову имеем при себе, Наумыч, – встрял Петр, – полную мяса корову.

– Это уже маленький, но разговор. Почему не просить сразу помочь, почему давить Кралю, чтоб мои дети налили три ведра слёз? Так я открою ворота, и прибирайте с тракта свою клячу, бо её быстро не будет, и дайте вконец мене подумать, потому, что ходит тут на чай некоторый Ганс.

Всполошились мужики, ввели во двор свой транспорт, на засов закрыли изнутри высокие, без единой щёлочки ворота. «Ух, как раньше не смекнули.»

– И если вы успокоили нервы, – продолжил лавочник, – я вам скажу, что вы вполне правильно подумали за Соломона, потому, что Соломон добрым родился и такой же будет улыбаться в гробу, чтоб он так жил. И он твёрдо знает, что все хотят кушать, а немец так просто любит. А это уже большая надежда, голубчики, доложу я вам. Но где я вижу вашу корову?

– В лесочке. Живая корова. При ней молоко, масло, творог, сметана, – если не убивать. Клад, а не корова. Ежели б не соль, мать её в душу, рази бы мы... так никогда.

– В лесочке? Правильно. В нашем городишке кто говорил «му-му», тот сильно ошибался. Того сожрали. Теперь немцам грусть, а нам надежда. Ганс у них офицер тыловой, у него солдаты слабо сыты мясом и грозят набить лицо. Он мне о том плакал, что не виноват. Найдёт соль – получит корову – спасёт свою нежную германскую харю.

– Слышишь, Егор? – вошёл в речь почтальон. – Он по-ихнему понимает. Он умный, а умному помирать по глупости неохота. Так что беседуй со своим Гансом, а нам скажи сразу опосля, сколько мы соли за корову выручим, чтоб не стыдно людям в глаза было глянуть.

– Голубчики мои разлюбезные! Помню – вы из Радостино, вы суровые жители топей и трясин, вам правду подавай, и вы от меня хотите счастья. Скажу – в жизни не врал – было бы шо сказать.

Понятненько – захотят мешка три, На год деревеньке их дремучей хватит. Получат два – будут довольны, что не один. У Ганса – просить пять, нет, шесть, но и четыре – с гешефтом. Пополним запас, войне ещё быть не два дня, копеечку намоем. Соли хош – гони золото. Пришёл чёрный день, люди, пришло ваше время прощания с заначками, пришло моё время помочь вам. Ах, Америка с Флоридой, ну шо ж ты такая далёкая?! Гансик, халявщик германский, в двенадцать явится, педант, обожатель первачка.

– Какое время стукнуло по часам, жители? – спросил мужиков лавочник.

Те сокрушённо переглянулись: по солнышку поживаем. Пошёл хозяин на этаж смотреть кукушку, а воротясь, сделал небритое лицо торжественным:

– Жду германского военного купца. Прохиндей – проб негде ставить. Имею за гадом шанец. Если не даст за корову три мешка, то я не знаю. Будет один мешок мне, два – вам. Почестному? По-честному! А нет, так идите, где вам скажут красивее. Или по рукам, или нехай вас любят сильнее, но не здесь.

В нынешней мировой обстановке ни шиша не разумея, а во всяких обменах шила на мыло и того пуше, отвесили мужики Наумычу поклон. И доброе чувство в глазах засветили. А

что делать? Коровёнку-то выкормить можно, а с позором – не жизнь. И некуда больше идти. Купец как обманывал селянина, так и будет, а коль так заведено, об чём суд.

– Крутишь нам бошки, – не удержался дезертир. – Ну да твой Бог с тебя и спросит. Определяйся с германцем, а нам обещаю жратвы на дорожку и – договорились.

– Накормлю, голубчики. А сейчас огородами, без шума и пыли, сюда вашу скотину. Ганса его смердючка быстро туда-сюда возит.

... На улице заволновался Кульгавый:

– Как пить дать – обули нас, Егор.

– Ясен чёрт. Однако жидок – молодец рисковый – без погляда на Маньку добро дал, а вдруг та – ходячая кожа на костях. Доверие нам дал, хоть и плут.

– Обязательно плут. Егор, не пойду я на одной ноге с тобой, хреновый с меня пехотинец. Сяду я на лавочку караул соблюдать. Мало ли чего.

...Здесь, имея паузу в событиях, откроем калитку в голову Шушмана Соломона Наумовича и честным образом если осветим его мысли, то обнаружим странную штуку: никакого желанья обувать мужиков в полную калошу там не наблюдается. Обыкновенному рефлексу повинуюсь, как слюна у собаки при виде питания, выделялись и капали соломоновы прибыли, ибо торговое дело уже не в уме сидело, а давно стало частью соломонова тела, и лишишь он вдруг разума, так руки сами бы сообразили, когда и какой доход непременно обязан к ним прильнуть. Соломон свою науку не знал, он с ней родился, и чем больший навар получал с клиента, тем более рад был навыку, алчным себя не считая вовсе. Напротив, человеком добрым и щедрым, не раз озвучивая суммы подношений местечковой синагоге...

Улица находилась в оккупации тишины. Непривычно закрытыми были калитки, но привычно подле каждой имелись лавочки, и в прежние деньки едва ли Петруха сыскал свободного местечка, ибо солнышко выдалось ласковым, и в иные времена восседали бы вдоль всей улицы нарядно одетые тётки в ярких платках, звучали бы слова и смех, а то и звон стаканов. Вольненько присел на лавочку Петя, лицо подставил солнцу, глаза затворил и нежно вспомнил, как решил однажды, в такой вот денёк, не грохотать телегой по мостовой, оставив на песке прилегающей улочки Ласточку, и пешочком пройтись до почты и обратно, и как он сильно ошибся быть здесь прохожим. Сильно пьяным, но население не обидевшим, пришёл он на почту, а о пути назад память ему так ничего и не сообщила. Похоже, умница Ласточка всё тогда поняла и самостоятельно доставила почту и почтальона к родимому селу, обиды опосля ни одним глазком не выразив.

Живот у Пети проурчал обидчиво и подумать о себе заставил, ну да это дело привычное, а необычно колокольчик вдруг встрепенулся, глаза открыл заставил и – мамочка моя родная! – увидеть друга Изю. Лавка того через дом от соломоновой существовала, и высунул из неё Исаак Абрамович нос понюхать обстановку, о Петрухе совершенно не подозревая.

У Петрухи ж свой нос имелся и неспроста, особый был нос, любил, пёс шелудивый, от хозяина независимо руководить перемещением его ног, потому эти ноги скоренько оказались, миль пардон, нос к носу с господином шинкарём и были тому неожиданны.

– А ведь доброе утро, – поздоровался внезапный.

– Ой! – отвечал шинкарё. – Ой, не лопни моё сердце, зачем ты сюда?

– Да так, случайно спросить пришёл.

– Это можно. Спрашивай. Об чём видишь, спрашивай. Вот подковы для лошадки, – жива лошадка, Петя? – вот гвозди, лучшие для гроба, германской стали Круппа. За курино яйцо один, от себя отрываю, настоятельно рекомендую. Также предлагаю свечи, чистейший стеарин, доложу. Белого парусина обязательно, обязательно прикупи тапочки. Такого проклятого избытка ты не увидишь и в аду. Всё, всё имеется для доброго человека. Качество исключи-

тельное. Мылом для верёвки по известной причине не располагаю – быстренько разошлось – тут тебе не помогу. Да и себе – чем так не жить, а мучить глаза. Нету мыла – нету настроения. Помнишь? – у меня была жена. Так её теперь и нет. Помнишь? – моя собака укусила тебя. Так я её поменял на раз покушать. Разве меня для того рожала мама, чтобы собака стоила мне раз пожрать плюс три солёных огурца. Но я отдал собаку. Не мне же её кушать. Что бы сказали дети? Мы что, сказали бы дети, дожили до того, чтобы нямать чистую преданность и любовь? Не лучше умереть голодным? Ах, да, лично для моего друга Пети Кульгавого в припасе германского чугуна опять же от Круппа сковорода, и сейчас он получит по голове своей дурной в память моих несчастных стаканов, битых в сумасшедшем количестве. Только попроси. Ты их не добил? Так ты опоздал, их благополучно добились. Ты что, сюда пришёл здесь молчать, убыток?

– Изя, ну шо ты стал такой злой? Ты же всегда был добрый.

– О-ох, – вздохнул тот.

– Изя, а жинка что, померла? Крепкая ж была баба. И почтительная.

– О-ох. О-ох.

– Ну вот – сам замолчал... А померла если, то помянуть обязательно. Не знаю, как по вашему закону, а по нашему – обязательно. А то ворочаться будет.

– О-ох. А стаканы? Ты тогда зачем стаканы побил?

– Десять лет прошло, десять грёбанных годков минуло, а ты всё не забываешь. Я ж тебе объяснял – за неуважение к русской армии. Ты как выразился? Засранцы, – ты выразился, – каких-то там японцев не одолели. А я оказался человек обидчивый, но отроду добрый, не морду тебе бил, а только имущество. Я из горла могу, было бы...

– О-ох. Наступил на мозоль, Петя, как же ты мне наступил. Так мне жалко мою Беллочку, что сны вижу. Приходит и спрашивает, соблюдаешь ли ты деток наших, Изя. Соблюдаю, драгоценная моя, – отвечаю. Беседую с ней, Петя, а потом обнять хочу – бах! – нету моей незабвенной, подушку муляю, и морда у меня мокрая, скажу тебе слабость. Водки налью – помяни жену по вашему закону. Всем наливал – три раза по маленькой, знаю.

– Ей при нашем почтении там непременно полегчает, одной душой теперь поживает, в добром слове что день нуждается, как мы вот тут – в пропитании. Хорошая ты женщина, Белла, и молюсь я пред Господом за райское тебе душеположение. Ну, наливай, Изя!

– Не заржавеет! – сказал тот и, охая, в каморочку исчез.

Не было человека минуты три; гость уже заскучать успел, как вышел Исаак, неся поднос миниатюрный серебра сиятельного с графинчиком на нём маленьким стекла прозрачного при рядышком стоящей рюмочке размером чуть боле напёрстка. «Очень культурно, – про себя отметил Петя, – и рюмка специальная. Празднично живёт народ, горем не ломается.» Так подумал японской войны инвалид и стал душевным, и прощенья попросил за битую посуду, а мог и не просить, потому как тогда околоточный его правду взял, как страдальца за землю русскую, а шинкарю велел думать, а потом говорить...

– Во имя Отца, – произнёс Пётр перед первой рюмашкой, – и Сына... и Духа Святого, – выпил три, только потом крякнул и серьёзно сказал: – Теперь, мужик, жинке твоей полегчает, раз нужное мы дело сделали. А как справляешься? Время эвон какое дурное на дворе.

– Живы, как видишь. Землю стал ковырять. Ты видел когда, чтобы добрый жид ковырял землю? А куда деваться? В могилу? – дети обидятся.

– Это точно. Для деток живём, нехай им будет легче нашего. Мы вон соль ищем, – за корову, – не подскажешь?

– У-у-у, – отрицательно закачал головой Изя. – У соседа был? Соломон в этом месте соображает.

– Был.

– Бери, что даст. Сегодня. Что будет завтра, один чёрт знает. Спасибо за поминание. До свидания.

– И тебе спасибо. Будь здоров. Пойду, пожалуй, – пожал Петя протянутую ему руку и поковылял на выход.

– Почтальон! – послышалось сзади. – Какая у тебя нога! Красивее живой стала!

– Поменяться не хочешь? Так я запросто!

– У-у-у.

– Вот так! Все хвалят – никто взять не хочет... Будто то не нога, а баба с блюда.

Всегда чихал Петя, из дома на солнце являясь, и сейчас славно чихнул. Никакая война свойство организма не меняет, – подумал радостно и пошёл на свою лавочку. Там на него снизошла благодать и большая любовь к жизни, яркости утречка и чисто убранной улице. Когда успевают? Ни души. Может, уже и мусорить некому. Или нечем? Тишь – ровно в чистом поле. Хорошо. Весна... Мотор затарахтел. Ты ж глянть – едут. Едут. Всё у них пунктик до пунктика, аккуратисты. Нравится им, небось, по чистой улице, при весне кругом. У Соломоновых ворот стал. Ганс приехал водки выпивать. Два часа, значит, стукнуло. Как сапоги сверкают! Трое. Вдарить бы из протеза, вот бы удивились, довольные морды, вот бы сожрали улыбочки. Не-е, дело главней. А дождётесь, суки, не будь я Кульгавый. И за царя, мать вашу, и за Отечество. Живите пока. Иди, Ганс, пей водку, крути своё дело всей своей хитростью. Наш Соломон тебя всё равно обдурит, оккупант паршивый. Думаешь, настроение моё погубил? Фигу тебе в ноздрю, хрен моржовый. Я солнцу радуюсь, мне на твои сапоги – тьфу. Я за Родину и в лапте похожу. А ты иди, за навар страдай. Кому война, а кому мать родна. Кому иконы свет, а кому злата сверк, прости Господи.

Сидел Петруха на лавке и всякими думами коротал ожиданье Егора, Степушки и животины несчастной. При добром настроении даже жалость подступила, что сожрут Маню германцы и при сытости, неровен час, метче стрелять станут, не приведи Господь. Однако и Радостино без соли ослабнет духом. Дети ещё перестанут батьков уважать, мир на два треснет. В одной части с Богом жить будут, в другой – без. С бесом, – значит...

Батюшки! А Гансик, видать, пить не стал. Как он быстро с поворотом собрался, только зашёл и – гляди-ка, опять сапогами засиял, в кабинку запрыгнул и отъехал на вонючке вон.

Немного погода отворилась калитка, вынулась оттуда небритая рожа и сразу давай себе то налево, то направо поворачиваться, в упор ни хрена не видя. То был Егор. Удивительно не замечал он друга своего, мимо глазами сильно споро бегал. Пришлось Пете засмеяться, единственным деревом в солнечной пустыне улицы найтись. Громко чертыхался дезертир, – а я по флангам, чёрт меня забирай, всё, дурень, по флангам. А ты туточки, – улыбался, – под носом. И смеялся, восхищённый.

Привели селяне корову огородами и тишком, как определились впредь, и вот стала она покорно внутри двора, о судьбе думая.

Оживлённый Соломон кругами вокруг бегал и сиял удовлетворением больших глаз. Он не прогадал и был горд: оказалась скотинка без подвоха, на все пять мешков легко потянет. Интересный удаётся день. При любой власти жить можно, – думал внутри себя лавочник, – главное, чтобы всякая власть брала возможность иметь к тебе взаимный интерес. С Гансом он договорился получить сначала два мешка при мужиках, потом, без свидетелей, ещё три. Три мешка гешефта! – интересный растёт фрукт. Ганс – не подведёт, ни разу не подводил. Он у нас аристократ, фон Редер, он со своим фоном носится, с диамантом будто, ему легче себе в лоб стрельнуть, чем слово нарушить, – у него такое воспитание. У Соломона, нехай он и не фон, слово тоже твёрдое, потому как враз при обнаруженном обмане германец сделает его жидким, и тогда не говорить еврей наш милый станет, а харкать кровью и сдохнет, возможно, при всей содержащейся в сердце мечте о Флориде и при всём намытом в недрах недостаточного

мещанского пропитания золотишком. Писать в костерок, огонь какого охраняет дружище Ганс, дураков здесь нет, да благословен будь опыт.

Радостинцы наши стояли рядом при Мане и, рук не зная, куда девать, шестью глазами танец наблюдали и лучи, испускаемые Соломоном из уцелевших зубов: то присядет на лавку танцор, то резко на неё вскочит, дабы поверх глухого забора на дорогу глянуть. А то вдруг вприпрыжку помчится тележные колёса смотреть какого-то рожна, беспокойный, в дёгте не смекающий. А то посмотрит на мужиков, улыбнётся, зубами брызнет, и опять ноги в руки, забавный мельтешун. Тогда только, когда удивление шести глаз на лбы полезло и рты селяне наши дружно открыли, дружно, видать, желая спросить о названии танца, Соломон открыл голос:

– Одну очень маленькую минуточку, господа, и германский завоеватель привезёт, что надо, я так вам говорю. Шоб мы так жили, как я не вру! Будьте спокойны и не стучите сердцем, чтобы Житомир слышал. Если он услышит, он подумает, что Шушман делает людям неудобольствие, тогда как он делает им счастье. Так разве нет? Отпустите свои нервы, дайте им гулять по хорошей погоде. Немного терпения, и вы будете иметь два мешка драгоценного продукта и три удовольствия в глазах. Это сказал я, а я даром не скажу.

Тут Степан, во взрослый разговор встречать навыка не имея, отважился спросить:

– А сколько, простите Христа ради, ваги в мешке будет. Свои мы знаем, а германские не больно ли худы?

Ах ты, нашу мать туда, – засуровели мужики, сокрушённо заахали и большой за Стёпой признали разум, потому как сами до такого простого вопроса в суете не дозрели.

– У мене война на этот счёт мозги свихнула, – оправдался дезертир.

– А у мене нога соображению хода не даёт, – извернулся инвалид.

Дружно же похвалили паренька за свежую соображалку и загневались гласно на улыбку лавочника.

– Шо ты нахрен лыбишься, али обман нам вчинить думаешь? Если так думаешь, то ты больной на ум и я тебе мозги вправлю, – подступил к улыбке грозный Егор. – Отвечай, пока Маня жива. И сам. И сильно не шути! Мы за сильные шутки сильно в морду вкатим, – жевать перестанешь! Твою ж мать...

– Ой, да шо вы, мальчики. Как бы не больше нашего был? Три пуда в нашем? – три. Эти – в килограммах меряют, по пятьдесят на мешок, вот и считайте.

Мужики на Стёпу разворот сделали и надеждой из глаз брызнули; виноваты, мол, не бережно с учебником обращались, страничку про эти килограммы на самокрут случайно запустили, продымили знание, – спасай!

Нужным признал себя для жизни парень и, мановенье в задумчивости важной побыв, молвил: «Пойдёт!».

Обмякли селяне, кинулись руками одёжу шупать, табачок верный извлекать, нервишкам пропитание. Уселись на скамейку дворовую, как уважаемые гости, стали дымом небеса угощать. В небо ежели хорошо покурить, оно тож успокоится, тучки в ём зараз бегать кончат, и никакого тебе завтра дождя. А всё на место вернуть хош, – дави сапогом какую не нравится жабу, – на небе тут же ход всем делам – извольте дождик, а при сильном осерчании на такую нечеловечность – и гроза тебе на голову, а уж совсем когда озверел – и молния тебе в хату. Дымить оно куда полезней, нежели на жабу случайным шагом наступать. Проверено.

Присел к мужикам Стёпа. Не курить, так хоть поглядеть двор без торопливости. При липах и низкой травке кругом похож был тот на лужок ровенький, от ворот же вела камнем мощёная тропа напрямиком в сарай. Симпатично, чёрт. Цивилизация. Сбирал глазами хлопцы тленные прошлогодние листья, мечту думал, где бы таких камешков добыть в Радостино, мамку дорожкой порадовать. Негде. Случаем из озера выползет, с испугу будто, так ведь одинёшенек, – не напасёшься и за всю жизнь. Стал тогда думать о жизни всякое.

А такая стояла теплынь благодная, что пошли думки Степановы тётушке Дрёме кланяться, и уж мало чего оставалось до той добратся, как удивительное гудение послышалось, в одном тесте с грохотом дивным.

Автомобиль, – вспомнил Степан иностранное слово. Любопытство – только на картинке видал – встрепенуло паренька; побежал он, калитку отворил и увидел, как? славно – само по себе, покачиваясь над дорогой, будто над нею смеясь, плывёт к нему железное существо, руководимое человеком, фырча округ ласковым зверем.

Улыбаясь на туземное восприятие прогресса, завоеватели в справной одежке вошли во двор: у двоих на плечах винтовки, третий сапогами сияет и ароматом приятным исторгается, что кадило. А кто пред их глазами? Три, не пришей к пейзажу рукав, обросших разноцветно щетиной аборигена, на разную погоду одетых, один из которых киндер, другой при забавной деревянной ноге, третий – при свирепом взгляде – житель совсем смешной.

Завоеватели оторопели, но виду не подали.

Но уже бежал Соломоша, уже летел, приятно одетый и непогасимо улыбочивый, в полёте щебеча и мельтеша крыльями. Он завертел дело, соколик. Наши стояли смиренно, речей не понимая, видом говоря, что их здесь только что высадили и они тихо растут, тополя.

Первым номером солдаты открыли борт машины и перетащили на телегу мешки, нежно уложив на солому, прямо поверх Егоровой винтовочки. Пыхтели от тяжести, что порадовало. Дабы затащить Маню в кузов, прислонили к борту из досок сколоченный трап, привезённый с собой, и по-хозяйски взяли нашу корову за рога. Они не знали, что такое полесская корова. А та себя любит сильнее, чем какая-нибудь голыптинская породистая дама. Наша упёрлась – применим иносказание – рогом. На уговоры незнакомым языком отзывалась делами наоборот. И когда подошли мужики, была уже сильно злая, наверное, на их измену Отечеству тоже, и на просьбы их тоже как бы плюнула, и приближался конфуз: один солдат уже за винтовкой, прислонённой прежде к забору, побрёл, удручённый соображением, сколько-то веса мёртвой туши примут ручонки при подъеме.

– Да что ж вы мучаете! – не выдержал Степан, из-за болезни мамы и швец, и жнец, и дояр славный, корову понимающий пуще нынешних и бывших солдафонов. – Застоялась она! Доить надо! Давай ведёрко, дядька Соломон!

Ладненькое ведро принёс лавочник, липового дерева при симпатичной бронзовой дужке, будто не корове удружить, а самой графине заморской, и подобрела душой от такого внимания Маня и молока не пожалела. Всех оделила. И земляков – предателей, и незнакомо смердящих иноземцев. Пили вкусное парное с лёгкой пенкой молочко, улыбались, радовали Маню. Петруха, срочно вспомнив о страстях несчастного Изи, пить не посмел, а требовал крынку, наполнил её до краёв и, жалостливо расплескивая по причине неровного шага, отправился радовать сироток, прежде сказав германцам «ша» и велев Соломону отнести остаток в дом.

Маня же обрела покой и, безропотно повинувшись руке Стёпы, мелким и похоронно медленным шагом вошла по трапу в кузов, легла; на мужиков, выворачивая им душу, глядела, будущее своё зная. Воткнулось оно в её печальные глаза и выкатило две огромные слезины, отчего заплакал Степан, на всю жизнь их запоминая. Пересказывая потом этот случай, он всегда не стеснялся слёз и жуткой в глазах тоски.

13

Никто, никто теперь не скажет и память не отдаст, каким таким боком, дорогой ли, небом пришла в Радостины весть о той всемирной революции, какая началась в Питере-городе и, мужики да бабы сердешные, скорым образом пред наши двory заявится, красивая, чай.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.